

Валерий Есенков

Царь



Валерий Есенков

Царь

«Автор»

2016

Есенков В. Н.

Царь / В. Н. Есенков — «Автор», 2016

ISBN 978-5-17-062592-5

«В 1566 году усиливает Иоанн оборону восточных украин переселением, под видом опалы, нескольких сотен конных и оружных служилых людей. Нисколько не усмирившись после позорного бегства из-под ветхой Рязани, с наглым, но уже смехотворным высокомерием, Девлет-Гирей требует возвращения прегордым татарам Казани и Астрахани, а для начала предлагает посадить в Казани царем своего сына Адыл-Гирея, кроме того полагает прямо-таки необходимым возобновить поминки прежних, давно позабытых времен. Афанасий Нагой, представитель царя и великого князя за Перекопью, рассудительно отвечает разбойнику, явно помраченному от старости лет: – Как тому статья, сам посуди? В Казани, в городе и на посаде и по селам государь наш поставил церкви, навел русских людей, села и волости раздал детям боярским в поместье, а больших и средних казанских людей из татар всех вывел, подавал им в поместья села и волости в московских городах, а иным в новгородских и псковских, да в Казанской же земле государь поставил семь городов: на Свияге, на Чебоксаре, на Суре, на Алатыре, на Курмыше, в Арске и город Лаишев...»

ISBN 978-5-17-062592-5

© Есенков В. Н., 2016

© Автор, 2016

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	21
Глава третья	37
Глава четвертая	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Валерий Есенков

Царь

Глава первая

Собор

В 1566 году усиливает Иоанн оборону восточных украин переселением, под видом опалы, нескольких сотен конных и оружных служилых людей. Нисколько не усмирившись после позорного бегства из-под ветхой Рязани, с наглым, но уже смехотворным высокомерием, Девлет-Гирей требует возвращения прегордым татарам Казани и Астрахани, а для начала предлагает посадить в Казани царем своего сына Адыл-Гирея, кроме того полагает прямо-таки необходимым возобновить поминки прежних, давно позабытых времен. Афанасий Нагой, представитель царя и великого князя за Перекопью, рассудительно отвечает разбойнику, явно помраченному от старости лет:

– Как тому статья, сам посуди? В Казани, в городе и на посаде и по селам государь наш поставил церкви, навел русских людей, села и волости раздал детям боярским в поместье, а больших и средних казанских людей из татар всех вывел, подавал им в поместья села и волости в московских городах, а иным в новгородских и псковских, да в Казанской же земле государь поставил семь городов: на Свияге, на Чебоксаре, на Суре, на Алатыре, на Курмыше, в Арске и город Лаишев.

Однако страстно желающий земель и золота хан, обнадеженный будто бы верной, на деле зыбкой поддержкой лукавого польского короля, упрям и до того безрассуден, что гонит гонца к царю и великому князю, и простой гонец от его имени требует без промедления возвратить Астрахань и Казань. Ему и в Москве отвечают довольно толково, что требования этого рода к доброму делу нейдут, а в поучение одаривают шубейкой полегче тех, какими одаривали прежних гонцов. На прощальном приеме оскорбленный гонец, хорошо понимающий только неотразимый язык шуб и мечей, приносит холопскую жалобу: вот, мол, царь-государь, обделили меня, вели награждать. Иоанн, любитель разумное слово сказать хотя бы татарину, поучает его:

– За то ли нам жаловать вас, что царь ваш клятву нарушил, Рязань воевал, а теперь Казань да Астрахань просит? За хлебом да чашей города не берут.

В общем, Девлет-Гирей и сам хорошо понимает, что его дикие всадники давным-давно никаких городов не берут, русские умеют крепкие крепости строить и те крепости прочным сидением оборонять, однако и его ханскому положению позавидовать трудно, оно сродно с положением Иоанна. С одной стороны, его соблазняет польский король, присылая в подарок что-то около тридцати тысяч дукатов с присовокуплением прозрачного рассуждения о том, что за такие денежки не худо бы ещё разок попытаться достать концом татарской сабли христианской Москвы. С другой стороны, собственные подханки и мурзы твердят, что московский царь и великий князь обманывает его, а им бы надоть в поход, поизносились, поистожились без полона и грабежа. А тут ещё прибегают казанские беглецы, обеспокоенные внезапным подселением новых дружин, возможно, кем-то подосланные, ещё пуще пугают его, что царь и великий-то князь с ним о мире рядится, а казаки его на Дону ставят город, ладьи готовят на Псле, на Днепре, помышляют взять одним разом Азов и открыть себе путь в глубины Тавриды. Испробовав уже русской власти, не насильственной, не грабительской, не жестокой, но умной, даже при самых рьяных воеводах не такой разорительной, какой была первобытная власть казанского хана, беглецы нашептывают ему в правое ухо, что Иоанн умнее, удачливее, стало быть, много опаснее прежних государей московских, что не страшась опасности от южных украин

повоевал Казань, Астрахань, Ливонию, Полоцк, что принял под руку пятигорских черкесов и повелевает ногаями как собственным юртом, что если Девлет-Гирей выдаст польского короля. Иоанну всей Польши не станет и на год, а там придет черед последнего улуса Батя, то есть весьма дельно доказывают, что Иоанна можно удержать в нынешних пределах Московского царства лишь совместными усилиями Польши и Крыма, а по одиночке Иоанн играючи распрямится и с той, и с другим. Афанасий Нагой оповещает из вертепа татарского:

«Пришли в Крым от ногаев послы за миром, чтоб с ними хан помирился, и если он захочет воевать Казань и Астрахань, то они с ним готовы идти. Вместе с ногайскими послами пришел в Крым казанец, Кошливлей-улан, и говорит, что был с ногаями в Москве, где виделся с двумя луговыми черемисами, Лаишем и Ламбердеем, они приказали с ним к хану, чтоб шел к Казани или послал царевичей, а они все ждут его приходу, как придет, все ему передадутся и станут промышлять заодно над Казанью. С другой стороны, черкесы прислали говорить хану, что царь Иван ставит на Тереке город и если он город поставит, то не только им пропасть, но и Тюмен и Шевкал будут за Москвою...»

Пятигорским черкесам Девлет-Гирей отвечает чистую правду, что не располагает такой сильной ордой, чтобы московскому царю и великому князю помешать ставить на Тереке город, а в Москву, поджигаемый золотыми дукатами польского короля, с неумирающей наглостью зарвавшегося татарина пишет с новым гонцом:

«Вспомни, что твои предки своей земле были рады, а мусульманских не трогали. Если хочешь мира, отдай мне Астрахань и Казань...»

Иоанн давно, с Великих Лук, ждет нового нападения с обеих сторон. Кроме Казани, он спешно усиливает Полоцк, Смоленск и все южные крепости за Окой. В дальних степях дни и ночи дежурят казаки, выглядывая тучи степной мелкой пыли, верст за десять выдающие татарский набег. Ополчение служилых людей, как обычно, собирается на Оке. Впервые он придает ему свой новый, опричный полк.

В самом деле, военные действия возобновляются и на западе и на юге. По счастью, коварный польский король на этот раз надувает крымского хана и ограничивается легкими нападеньями, лишь бы несколько поотвлечь московские полки на себя и открыть татарам дорогу на север. Боярин Морозов отгоняет литовский отряд от Смоленска, а князь Андрей Ногтев разбивает литовцев под Полоцком. Зато крымский хан в этом году поднимается тяжело, тащит за собой, поученный Басмановым под старой Рязанью, неповоротливые осадные пушки и дает московским воеводам возможность заблаговременно изготовить полки. В сентябре орда известными бродами переходит Донец, однако по какой-то причине отклоняется от прямого пути, которым татары извечно ходят на Рязань или Тулу, отклоняется к западу и седьмого октября подступает под Болхов, московскую крепость, поставленную на левом притоке Оки. Воеводы Василий Кашин и Иван Золотой давно настороже отразить нападение. Завидя разъезды, вынюхивающие расположение русских постов, они делают смелую вылазку, не позволяя татарам по-хозяйски расположиться под стенами крепости и наладить осадные пушки, бьются упорно, берут немалый полон и сберегают от пожара посад. Понятно, что Болхов нуждается в подкреплениях. Ближе всех к Болхову оказываются полки Ивана Шуйского и Петра Щенятева, однако они медлят подать руку помощи осажденным товарищам по защите отечества. Между воеводами заваривается та обычная, бестолковая, неприличная свара, которые Иоанн никак не может искоренить. Вопреки тому, что местничество ан время похода отменено ещё перед казанским походом митрополитом Макарием, воеводы в виду неприятеля схватываются между собой из-за мест: вишь ты, кто из них первый, а кто второй, кому отдавать приказания, кому приказания исполнять, а пока полки стоят в ожидании, Кашин и Золотой бьются с татарами, имея лишь горсть московских стрельцов и служилых казаков. Татары все-таки не успевают как следует развернуться, не успевают полютовать и пограбить. К месту сечи подходят полки Ивана Бельского и Ивана Мстиславского и на деле дают плачевному хану понять, кто

нынче правит в Москве. Что-что, а добротный язык обнаженного к стати меча Девлет-Гирей понимает отлично и в ночь на девятнадцатое октября 1565 года бежит из-под Болхова впереди потрясенной орды, на бегу проклиная польского короля, наконец убежденный ощутительным опытом поражения, что изворотливые поляки коварно и ловко в какой уже раз подставляют его, тогда как Мстиславский и Бельский, разгоряченные славной победой, может быть, неожиданно для себя, подают царю и великому князю челобитье о том, что князья Щенятев и Шуйский заместничались некстати и чуть было не выдали Болхов врагу.

Кажется, предусмотрительность Иоанна и на этот раз приносит победу, не столько военную, ибо враг лишь напуган, но не разбит, сколько моральную, в сложившихся обстоятельствах более важную для него: ведь склока Шуйского и Щенятева лишний раз подтверждает, что мысль создать новое, опричное войско оправдывает себя. Он рассматривает челобитье наибольших бояр, рассматривает спокойно, без гнева, хотя для гнева более чем достаточно веских причин, выясняет, что склоку за место затеял Щенятев, а Шуйский лишь от него отбивался, освобождает Шуйского от наказания, Щенятев же попадает в опалу, довольно сносную, несоразмерную с его преступлением: его отрешают от воеводства, а его вотчины отписывают в казну.

Однако бесчувственная судьба не дает передышки. С осени до суровых декабрьских морозов в Полоцке свирепствует мор. Узнав о новом несчастье, Иоанн, как всегда, встает перед Богом обнаженной, без утайки открытой душой. За что ниспослано ему наказание, за какие грехи? А что пес смердящий, грешен кругом, он знает о том наперед и потому ранней зимой, первопутком отправляется в долгое богомолье, во спасенье души, которое для него слаже других в Кирилловом Белозерском монастыре. Он держит путь на Ярославль и на Вологду, в Вологде задерживается на долгое время. Он глядит глазами хозяина. Перед ним большой город, по величине пятый город Московского царства, после Москвы, Великого Новгорода, Пскова и Ярославля. В городе около полутора тысяч тяглых дворов. На всё царство Вологда славится льном, прядением и ткачеством, выделкой кож и ведет разнообразный торг едва ли не со всеми русскими городами и на западе, и на севере, и на юге, а через них с Европой и с Азией. Однако важнее всего то, что Вологда с недавних пор превращается в крупную торговую базу, поскольку здесь всякий товар перегружается с телег на суда и с судов на телеги и подолгу лежит, дожидаясь зимних путей или весеннего вскрытия рек, стало быть, представляет собой легкую добычу для любого грабителя. Иоанн не может не понимать, что сама Вологда и весь северный край нуждаются в обороне, в особенности с северо-востока и с северо-запада. На Пермь, на Вятку и далее на поморье всё ещё совершают жестокие набеги сибирские татары, вогулы и остяки. До самого побережья Белого моря всё ещё доходят по старой памяти не менее хищные ушкуйники Великого Новгорода, шведы и так называемые каянские немцы, как в этих краях именуют тоже небескорыстных и малогуманных финских разбойников, пробираются по рекам Кеме и Ковде и безжалостно грабят безоружных поморов. Несмотря на постоянные угрозы и с востока и с запада, оборона русского Севера жидка и случайна. Вооруженные силы Московского царства принуждены неусыпно стоять против литвы и крымских татар, тогда как на северных лесистых, болотистых, редко населенных пространствах не заводятся служилых людей, которые несут службу с поместья, по первой тревоге обязаны сесть на коня и отбить воровской налет с любой стороны. В этих отдаленных местах лишь кое-где произволом случайности ставятся крохотные деревянные крепости, большей частью по бродам и торговым путям, в крепостях сидят стрельцы и казаки, которые нуждаются в поддержке, в хлебе и в порохе. Здесь необходима сильная, хорошо укрепленная военная база, которая могла бы взять на себя организацию обороны и снабжение этих разбросанных, друг от друга далеко отстоящих сторожевых гарнизонов и тем обеспечить быстрое и безопасное освоение русского, отныне опричного Севера. Иоанн повелевает, и летописец заносит в свой манускрипт:

«Тоя же осени царь и великий князь заложил город Вологду камен и повеле рвы копати и подошву бити и на городовое здание к весне повеле готовити всякий запас...»

В этой торговой столице всего русского Севера занятый неутомимым созиданием Иоанн предполагает возвести громадную крепость, которая по величине и надежности не уступала бы величине и надежности московского Кремля, а внутри её возвести великолепный собор, который по величине и размерам мог бы соперничать с Успенским собором в Москве или с Преображенским собором на Соловках. Неизвестно, собирается ли он поселиться в этой вновь ставленной крепости навсегда, покинув нелюбимую Москву с её боярами и князьями, или всего лишь готовит второй рубеж обороны на случай согласованного нашествия литовцев и крымских татар, которое, он это видит, московским войскам едва удастся остановить. Утверждать с точностью можно лишь то, что он стремится привлечь сюда служилых людей, которые были бы готовы отразить нападение. С этой целью он наделяет землей в вологодском уезде своих приближенных, в первую очередь Федора Басманова, Василия Грязного, Семена Мишурина и некоторых других, рассчитывая на то, что они, со своей стороны, испоместят на ней своих слуг.

Покончив с делами военными, он наконец добирается до Кириллова Белозерского монастыря. Человек мирный, склонный к тихим молитвам, к неторопливому размышлению о великом прошедшем и ожидаемом будущем, противостоянию и вражде предпочитающий уединенные беседы со старинными рукописями, с богомольцами и мудрецами других времен и народов, он с наслаждением погружается в стеклянную тишину, в целительный покой мирных келий, в чарующую прелесть долгих молитв. Необходимость возводить крепости, скликать для сечи полки, перестраивать войско, укрощать неукротимых князей и бояр, отправлять кого-то в опалу, кого-то под топор палача отступает на короткое время. Душа его отдыхает от пошлой земной суеты. И до того его натуре противно постоянно держать наготове свой меч как против чужих, так и против своих, до того он измучен и изнурен, что внезапно его затаенная тоска вырывается из-под спуда, он призывает в свою одинокую келью Кирилла, игумена, и несколько самых уважаемых старцев, говорит с ними порывисто, страстно, признается, что единственная его мечта удалиться от жестокого мира, постричься в монахи и жить, как они. И это не минутный каприз, не наплыв взбудораженного религиозного чувства. Его желание неизменно. Спустя восемь лет он напомним о нем, когда эти же старцы испросят у него помощи в делах монастырских и поучения в том, как должно им поступить:

«Ради Бога, святые и преблаженные отцы, не принуждайте меня, грешного и скверного, плакаться вам о своих грехах среди лютых треволнений этого обманчивого и преходящего мира. Как могу я, нечистый и скверный душегубец, быть учителем, да ещё в столь многмятежное и жестокое время? Пусть лучше Господь Бог, ради ваших святых молитв, примет мое писание, как покаяние. А если вы хотите найти учителя, – есть он среди вас, великий источник света, Кирилл. Почаще взирайте на его гроб и просвещайтесь. Ибо его учениками были великие подвижники, ваши наставники и отцы, передавшие и вам духовное наследство. Да будет вам наставлением святой устав великого чудотворца Кирилла, который принят у вас. Вот вам учитель и наставник! У него учитесь, у него наставляйтесь, у него просвещайтесь, будьте тверды в его заветах, передавайте эту благодать и нам, нищим и убогим духом, а за дерзость простите, Бога ради. Вы ведь помните, святые отцы, как некогда случилось мне придти в вашу пречестную обитель Пречистой Богородицы и чудотворца Кирилла и как я, по милости Божьей, Пречистой Богородицы и по молитвам чудотворца Кирилла, обрел среди темных и мрачных мыслей небольшой просвет – зарю света Божия – и повелел тогдашнему игумену Кириллу с некоторыми из вас, братия (был тогда с игуменом Иоасаф, архимандрит Каменский, Сергей Колычев, ты, Никодим, ты, Антоний, а иных не упомяну), тайно собраться в одной из келий, куда и сам я явился, уйдя от мирского мятежа и смятения; и в долгой беседе я открыл вам свои желания постричься в монахи и искушал, окаянный, вашу святость своими слабосильными словами. Вы же мне описали суровую монашескую жизнь. И когда я услышал об этой Боже-

ственной жизни, сразу же возрадовалась моя окаянная душа и скверное сердце, ибо я нашел Божью узду для своего невоздержания и спасительное прибежище. С радостью я сообщил вам свое решение: если Бог даст мне постричься при жизни, совершу это только в этой пречестной обители Пречистой Богородицы и чудотворца Кирилла; вы же только молились. Я же, окаянный, склонил свою скверную голову и припал к честным стопам тогдашнего вашего и моего игумена, прося на то Благословения. Он же возложил на меня руку и благословил меня на это, как и всякого человека, пришедшего постричься...»

И не проходит даром это благословение, благословение игумена навсегда остается в душе:

«И кажется мне, окаянному, что наполовину я уже чернец: хоть и не совсем ещё отказался от мирской суеты, но уже ношу на себе благословение монашеского образа. И видел я уже, как многие корабли души моей, волнуемые лютыми бурями, находят спасительное пристанище. И потому, считая себя уже как бы вашим, беспокоясь о своей душе и боясь, как бы не испортилось пристанище моего спасения, я не мог вытерпеть и решился вам писать...»

Однако не более чем наполовину пребывает он уже в чернецах. Другая половина, волнуемая лютыми бурями, должна вновь погрязнуть в мирской суете. Направить корабли своей души в спасительное пристанище Бог не велит. Бог обрек его служить государем, и ему до конца своих дней тащить этот невыносимый для честного человека, окровавленный крест. Шапка-то Мономаха действительно тяжела, и своей волей натянуть её на скудную свою головушку тщится лишь почерневшая от подлостей сволочь или кремешный дурак.

Он возвращается с богомолья к беспокойным делам управления, и что поджидает его? Пока он отсутствовал, князь Щенятев постригся в монахи, случай не частый, обычно опальных князей приходится силой отправлять в монастырь, доброй волей они затворяются редко, да и то большей частью на старости лет. Пострижение много нагрешившего князя тем не менее представляется ему подозрительным, но он делает, до поры до времени, вид, будто ничего не случилось.

По весне, не успевают сойти снега и отшуметь полноводные реки, мор открывается в Великих Луках, в Троицком Сергиевом монастыре и в Смоленске, в течение нескольких месяцев страхом неминуемой смерти обороняя литовские рубежи и опустошая важные крепости, которые с запада прикрывают Москву. После мора необходимо во что бы то ни стало и как можно скорей заселить эти крепости московскими стрельцами, служилыми казаками, пушкарями, хотя бы малым отрядом служилых людей, но такой массы годных к службе бойцов негде взять, и без того у него слишком мало их для обороны обширных, им же раздвинутых рубежей, ни с одной стороны не обороненных естественными преградами, кроме болот да лесов.

И медлить нельзя. И без того не имея никакого желания рисковать собственными полками, а теперь лишившись возможности бросить на источающие заразу московские крепости алчных литовцев, польский король и литовский великий князь с двойной настойчивостью направляют на Москву тоже алчного крымского хана, и крымский хан, за горсть золота готовый реками чужую кровь проливать, едва успев отдышаться после конфуза под Болховом, гонит к Иоанну гонцов всё с тем же безрассудным требованием Казани и Астрахани, несмотря на то, что и польский король, и московский царь и великий князь, и сам крымский хан знают отлично, как у него коротки руки до Казани и Астрахани, а вместе с абсурдным требованием вновь ищет и вовсе нерассудительных даней. Иоанн повелевает кратко ему ответить:

«Мы, государи великие, бездельных речей говорить и слушать не хотим...»

Никогда ещё московские государи не изъяснялись этим стальным языком с татарскими ханами. Ему и этого мало. Ощувив свою возросшую и всё растущую силу, он со своей стороны прибегает к угрозам и позволяет себе говорить с заперекопским нахалом как старший с младшим, давно на практике испытав благодатную, трезвящую, вводящую в разум силу угроз. Вот как он наставляет Алябьева, которого в крымский вертеп направляет послом:

«Если станет хан говорить: посылал я к брату своему, великому князю, гонца Мустафу с добрым делом, а князь великий велел его ограбить Андрею Щепотьеву за то, что у Андрея Сулеш взял имение в зачет наших поминков, так я велю этот грабеж Мустафе взять на тебе, – отвечать: которые поминки государь наш послал к тебе с Андреем Щепотьевым, эти поминки Андрей до тебя и довез, а Сулеш у Андрея взял рухлядь силою, Андрей бил тебе челом на Сулеша, а ты управы не дал, Андрей бил челом нашему государю, и государь велел ему за этот грабеж взять на твоём гонце: если же на мне велишь взять что силою, то государь мой велит мне взять вдвое на твоём после и вперед к тебе за то посла не пошлет никакого...»

Девлет-Гирей мнется, страсть как хочется ему достать Москвы и Казани и вдоволь насытиться чужим добром и полоном. Он прикидывает, не соединиться ли в самом деле с непокорившимися казанцами, помышляющими по скудости духа не о самостоятельности, не о свободе уже, а только о том, чтобы из-под власти московского царя и великого князя перекинуться под власть крымского хана, хоть и злодея, но все-таки своего злодея по крови и вере.

Афанасий Нагой достойно исполняет свои обязанности представителя московского государя, которые обыкновенно совмещаются с обязанностями лазутчика. Он подкупает придворных Девлет-Гирея, соблазняет подарками торговых евреев, содержит исполнительных соглядатаев и благодаря многим глазам и многим ушам добывает достоверные сведения о намерениях оголодавших без набега татар. Одна из его новостей грозит Московскому царству многими бедами. Афанасий Нагой спешит донести, что прибыли грамоты от казанских татар и луговых черемис, в которых прежде враждующие между собой, а нынче сплотившиеся татары и черемисы просят прислать военную помощь, а во главе орды поставить ханского сына, а как орда с ханским сыном подступит к Казани, так они все отложатся от московского царя и великого князя, неизбежный итог насильственного обращения в православие, возьмут силой казанский острог, по крепостям перебьют московские гарнизоны, всё ещё малочисленные, несмотря на переселение полутора сотен опальных князей и бояр, а всего против них наберется тысяч до семидесяти мятежников. Афанасий Нагой также доносит, что присылали ногаи к хану сказать:

«Пока мы были наги и бесконны, до тех пор мы дружили царю и великому князю, а теперь мы одеты и конны: так если ты царевича в Казань с войском отпустишь, то дай нам знать, мы твоему сыну на помощь готовы...»

Ещё доносит Афанасий Нагой, что Девлет-Гирей, столько раз с уроном отбитый от южных украин, совет держал со всеми своими сыновьями и мурзами:

«Была дума у царевичей: думали царевичи, карачеи, уланы, князья, мурзы и вся земля и придумали мириться с королем, а с тобою, государем, не мириться, помириться тебе с московским, говорили они хану, – это значит короля выдать, московский короля извоюет, Киев возьмет, станет по Днепру города ставить, и нам от него не пробывать. Взял он два юрта мусульманских, взял немцев, теперь он тебе поминки дает, чтоб короля извовать, а когда короля извоюет, то нашему юрту от него не пробывать, он и казанцам шубы давал, но вы этим шубам не радуйтесь: после того он Казань взял...»

Умен Иоанн, хитер и расчетлив. Девлет-Гирей убедился в этом на опыте, частом и горьком, в особенности оценил по достоинству его беспроигрышную стратегию неспешного оттеснения неприятеля при помощи крепостей, которые ставятся им в самых удобных для обороны местах, чего не достало ума оценить Адашеву, Сильвестру и Курбскому и всей налегающей стороне вместе с ними, когда гнали его напрямик воевать Перекоп. Очевидность неумолимая, с превосходством московского государя не согласиться нельзя, как ни кружи голодная татарская конница вокруг ошестиненных пушками и пищальями крепостиц, и крымский хан решает твердо и окончательно перейти на сторону польского короля и литовского великого князя, тоже расчетливого, упорного недоброжелателя Московского царства, однако ж ленивого, развратного, в воинских делах ничем не отмеченного, с ним сообща все-таки поспокойней и посподручней грабить одинокую, никем не поддержанную Москву, а Нагому велит передать, что с москов-

ским царем и великим князем никакого мира не станет иметь, то есть объявляет Московскому царству нескончаемую войну до полной победы или до полного истощения татарской орды. На особом приеме Афанасию сам говорит:

– Ко мне пришла весть, что государь ваш хочет на Тереке город поставить. Если государь хочет быть со мной в дружбе и братстве, то города на Тереке он бы не ставил, дал бы мне поминки Магмет-Гиреевские, тогда я с ним помирюсь. Если же он будет на Тереке город ставить, то, хотя давай мне гору золотую, мне с ним не помириться, потому что побрал он юрты мусульманские, Казань да Астрахань, а теперь на Тереке орд ставит и несется нам в соседи.

В самом деле, московская крепость поблизости от татарских кочевий вроде кости в горле для крымского хана и ясный, к тому же крупный успех прозорливого Иоанна, предпочитающего стеснять, устрашать, продвигать во все стороны опорные пункты, именно для того, чтобы лишь в крайнем случае прибегать к грубым доводам закаленного победой оружия. Девлет-Гирей эту крепкую кость страсть как хочется вынуть, а он её вынуть бессилён, благодаря неотступным усилиям Иоанна миновались бесславные времена безбрежных татарских бесчинств, вековечный враг остановлен и прижимается шаг за шагом к стене, и Девлет-Гирей в бешенстве от собственной немощи приказывает вышвырнуть из своих владений царского представителя.

Не на того, как говорится, напал, да и Москва уж не та, чтобы с ней говорить на таком языке. Афанасий Нагой принадлежит к числу немногих Иоанном примеченных лиц, кто служит царю и отечеству, причем служит бестрепетно. Он объявляет крымскому хану, что лучше померет, но без дозволения царя и великого князя никуда не отъедет.

Тогда, окончательно помрачившись нетвердым умом, с теми же бессмысленными угрозами Девлет-Гирей отправляет к Иоанну гонца. Иоанн отвечает невозмутимо, с сознанием своей силы и правоты, что не отдаст ни Казани, ни Астрахани и что город на Тереке ставится безопасности черкесского князя Темрюка, тестя его, а если хан желает добра, так пусть пришлет своего сына в Москву, он выдаст за него дочь Шиг-Алея и даст татарский Касимов в удел, об Магмет-Гиреевых даянях неприлично и речи впредь заводить, вместо них Иоанн посылает крымскому хану триста рублей, сумма, которая служит крымскому хану чем-то вроде пощечины. Девлет-Гирей все-таки терпит, хорохорится главным образом ради того, чтобы потешить свое татарское самолюбие, настоящее на давно прошедших победах Чингис-хана и Батыея, а перед московским царем и великим князем, как-никак прежним данником, лицо сохранить, вновь призывает Нагого, отчитывает посла за такие поступки его государя, а всё словно бы жалуется на собственное бессилие погуще напакастить ближнему:

– Просил я у вашего государя Казани и Астрахани, государь ваш мне этого не дал, а что мне дает и на Касимов царевича просит, того мне не надобно: сыну моему и у меня есть что есть, а не дает мне государь ваш Астрахани, так султан турецкий возьмет же её у него.

Иоанн чувствует эту очевидную слабость крымского хана, невозможность орды вольным ходом пробиться сквозь цепь поставленных им крепостей, его неспособность справиться с ним в одиночку в открытом бою, однако турецкого султана со счета он сбросить не может, турецкого султана нынче вся Европа страшится приблизительно так же, как Чингис-хана три века назад. Он всегда готов к любой неожиданности, это в нем говорит наследство тревожного детства, и пока тянется эта невинная канитель с устными и письменными ничего не значащими угрозами, он обдумывает положение земского войска. С пострижением Щенятева он лишается дельного воеводы. В земщине наибольшими воеводами остаются Иван Бельский да Иван Мстиславский, старейшие и ненадежные: Бельский дважды пытался бежать, Мстиславский глуп и никчем. Как ни крути, а приходится покориться сложившимся обстоятельствам, и он призывает Михаила Воротынского, опального удельного князя, который благодушествует в монастыре на свежей осетрине и заморском вине. Он вопрошает опального, готов ли князь Михаил служить верой и правдой, как прежде служил. Князю Михаилу опала идет явно на пользу. Князь Михаил отвечает, что готов служить верой и правдой, вновь целует крест и дает

крестоцеловальную запись, что крамолы не учинит и никуда не отъедет. Иоанн возвращает ему его вотчины, даже кое-что прибавляет ещё, чтобы вернее служил, и ставит его на третье место среди воевод земского войска, после Ивана Бельского и Ивана Мстиславского, как ему подобает стоят по росписи мест.

Той же весной он отправляется в объезд по укрепленным местам, стоящим на страже южных украин, посещает Козельск, Болхов, Белев, чтобы лично проверить надежность им же придуманной и возведенной линии крепостей, а вместе с собой повелевает следовать воеводам и старшим из служилых людей, может быть, для того, чтобы не оставлять их без присмотра в Москве и заодно приучать к добросовестному несению службы, поскольку именно многим из них предстоит служить по этим укрепленным местам. В Болхове он делает остановку, с пристальным вниманием осматривает места недавних боев и проводит расследование. Его тревожит вопрос, отчего Щенятев скрылся в монастыре? Не произошло ли под Болховом чего-нибудь большего, чем обыкновенная свара за место? Не преднамеренная ли это крамола? Не замыслил ли Щенятев пропустить татар на Москву? Видимо, ему что-то удастся установить. Воротившись, он вызывает Щенятева из монастыря. Боярина допрашивают, во время допросов пытаются. Неизвестно, какие показания давал воевода, обрекавший Болхов на сдачу. Известно, что его возвращаются все-таки в монастырь и что вскоре он умирает, возможно вследствие пыток.

Южные украин беспокоят Иоанна куда больше литовских украин не только потому, что Смоленск и Великие Луки на какое-то время защищены черным бедствием мора. Литовская сторона сама затевает переговоры о мире, на этот раз исходя из более веских причин, чем отступление перед заразой. Чтобы пощупать, готовы ли почвы в Москве для начала переговоров, от епископов и панов радных к митрополиту приходит гонец. И прежде к митрополиту Макарию такого рода непохвальных гонцов перестали пускать, тем более не допускают гонца к Афанасию, человеку в политике невесомому, молчаливо согласному взять на себя Божье, а кесарево оставить на усмотрение Иоанна. Гонца допускают только к думным боярам. Думные бояре отвечают согласием о мире сноситься и военные действия остановить. Опасную грамоту для представительного посольства отправляют с Желнинским, однако наказ гонцу дает сам царь и великий князь:

– Если спросят про Андрея Курбского, для чего он от государя побегал, то отвечать: государь было его пожаловал великим жалованьем, и он стал делать государю изменные дела, государь хотел было его понаказать, а он государю изменил, но это не диво, езжали из государства и не в Курбского версту, да и те изменники государству Московскому не сделали ничего. Божиим милосердием и государя нашего здоровьем Московское государство не без людей, Курбский государю нашему изменил, собакою потек, собацки и пропадет. А если спросят о дерптских немцах, для чего их царь из Дерпта велел перевести в московские города, отвечать: перевести немцев государь велел для того, что они ссылались с магистром ливонским, велели ему прийти под их город со многими людьми и хотели государю изменить. Если спросят: зимою государь ваш куда ездил из Москвы и опалу на многих людей для чего клал, отвечать: государь зимой был в слободе и положил опалу на бояр и дворян, которые ему изменные великие дела делали, и за великие измены велел их казнить.

Впрочем, нынче польскому королю и литовскому великому князю, как и крымскому хану, не до таких мелочей, способных волновать лишь московских князей и бояр. Своими заранее изготовленными ответами Иоанн желает уверить любознательного соседа, зарящегося на его города, что никакой внутренне распри, тем более никакой смуты, вроде той, что бушует в Европе, в московских пределах не водится и не предвидится впредь. Польский король и литовский великий князь и на этот счет осведомлен хорошо, как осведомлены о том и в Европе, иначе Европа не принуждала бы его пойти на согласие с Иоанном и он вместо послов давно бы направил полки на Москву. В одиночку серьезное нападение ему не под силу, как оно уже

не под силу и крымскому хану, до того возросла мощь Московского царства в последние двадцать лет, и все попытки этого коварного и ловкого интригана натравить на несговорчивого соседа Европу, поднять Нидерланды, немецкие княжества и германского императора в крестовый поход на восток, неожиданно для него проваливаются самым постыдным и самым решительным образом: у Европы нынче иные планы, иные заботы, иная война. Очень ему хочется направлять события по своему усмотрению, однако в действительности события им управляют, таков непреложный закон. Его войскам удастся отбить у шведов Пернов, в свою очередь шведы набрасываются на Эзель. Пользуясь этим несчастьем, он замышляет вовлечь в военные действия тамошнего правителя Магнуса, однако Магнус, бесшабашный авантюрист, в обмен на союз со своим водевильным, немногого стоящим герцогством требует у него самую малость: руку его второй сестры и в качестве приданого за ней всю Ливонию, и он при всем желании отыскать хоть самого захудалого чудака, который вместо него сунулся в пекло войны, чудаку с таким чудовищным аппетитом вынужден наотрез отказать. Обращение к германскому императору тоже не приносит ему ни одного солдата или хотя бы одного талера на покупку солдат, зато приносит сколько угодно самых соблазнительных обещаний и ободрительных слов, из которых, как известно, не составишь ни полка, ни батальона, ни взвода. Момент для союза против Москвы выпадает слишком неподходящий. После кончины Фердинанда I его старший сын Максимилиан II получает всего-навсего Австрию и Венгрию, чтобы понемногу превратиться из германского императора в австрийского короля, поскольку недалёковидный отец наделил второго сына Тиролем, а третьему завещал Каринтию, Крайну и Штирию. Раздел, как и всякий раздел, серьезно ослабляет империю Габсбургов, которую с юго-востока теснят ненасытные турки, а на севере и северо-западе отказываются от бывшего безмолвного повиновения обнаглевшие после истребления десятков тысяч крестьян в зверски-жестокой Крестьянской войне князья и курфюрсты, и бедный наследник, к тому несколько обделенный нерадивой природой способностями, нестерпимыми обстоятельствами принуждается к неблагоприятной роли посредника, у которого реальная власть уплывает из рук, поскольку князья и курфюрсты продолжают вздорить и ссориться между собой, не подозревая о том, какое ужасное бедствие они накликают на свои бесшабашные головы и так накличат лет через сорок. Изворотливый польский король и литовский великий князь закидывает удочку в Нидерланды, которые могут перекрыть торговые потоки, идущие через русскую Нарву, что Маргарита Пармская, наместница испанского короля, сделать, право, не прочь, лишь бы придушить богатого конкурента Испании в торговле с Востоком, а заодно истребить вольный дух, со дня на день нарастающий в этой беспокойной испанской провинции, да вот беда, несносные Нидерланды именно в этот момент, когда они так нужны для политических комбинаций польского короля и литовского великого князя, отныне не желают пребывать в униженном положении испанской провинции, и в начале апреля 1566 года группа непокорных дворян в потертых атласных камзолах, за что Маргарита презрительно обзывает их гезами, то есть нищими, вручает петицию, в которой требуют вывода испанских полков, а главное, в петиции высказывается здоровое требование немедленно прекратить ужасные костры инквизиции, массами пожирающие нидерландских еретиков, в действительности вожаков нарастающего освободительного движения. Никаких костров инквизиции католическая Испания не собирается прекращать, и в Нидерландах вспыхивает иной огонь, огонь революции, положивший начало неслыханному процветанию в конце концов победившей республики, однако же для победы республики гезам необходимо оружие, а за оружие, как известно, надо платить, а деньги на оружие доставляет торговля, а испанские корабли блокируют западное побережье с его знаменитыми торговыми городами, и маленьким Нидерландам остается один путь на восток, в эту самую русскую Нарву, которую исхлопотавшийся польский король и литовский великий князь призывает заткнуть соединенным военным флотом балтийских держав, рассчитывая на то, что Московское царство военного флота пока не имеет, и если

не потеряет эту самую русскую Нарву, так заплатит несбывшимся вождениям хотя бы большими убытками.

А всего гаже для него то, что его возня вокруг московской торговли очень не нравится бедным немецким князьям, берущим пошлину с каждой телеги, в особенности не нравится стремительно возвышающейся Баварии. Великие географические открытия, проложенный морской путь вокруг Африки в сказочно богатую Индию, открытие Америки и кровавое ограбление вдруг возникших колоний сыграли злую шутку с немецкой торговлей. Зарастает травой обильная дарами пошлин и барышей столетиями торенная дорога из Венеции, Флоренции и Генуи через южную Германию на север, в цветущие ганзейские города, нынче к тому же лишенные самоуправления победившими немецкими очень бедными и очень жадными рыцарями. Стало быть, старинным немецким торговым городам тоже остается одна дорога по давно освоенным водным путям через Прагу и Краков на Смоленск, Ростов Великий и Ярославль или татарский Крым, откуда по хитросплетению рек и караванных дорог плывут товары из Персии, Индии и Китая, в особенности бесценный китайский шелк, да в придачу к этим старинным путям всё та же русская Нарва, через которую плывут всё те же восточные прелести, славянские меха, лен, мед и воск, а с недавнего времени корабельный лес, которого в неизменных количествах требует растущий как на дрожжах европейский торговый и военный флот, ринувшийся в неведомые просторы всех океанов в погоне за пряностями, золотом, серебром и обыкновенной пиратской добычей. Затянувшаяся война на восточных торговых путях грозит немецким купцам, а следом за ними и немецким князьям и курфюрстам окончательным разорением, оттого они так усердно обхаживают своего императора, чтобы он на понятном всем языке растолковал неугомонной Польше и жадной Литве, что нынче их возня против Московии никому в этих местах не нужна. Особенный дар вразумления, очень некстати для них, открывается у Вейта Ценге, представителя баварского герцога по торговым делам. Циничный лжец или наивнейший фантазер, этот Ценге только что не обожествляет московского царя и великого князя, верно, нужда в самом деле заставляет есть калачи. По его уверению, московский царь и великий князь по происхождению доподлинный немец, больше того, в этих царственных жилах течет чистейшая баварская кровь, самого голубого оттенка. Далее едва ли не ошарашенный столь бесподобным родством Максимилиан узнает, что царь Иоанн не чаёт дожидаться того благословенного часа и дня, когда сможет вступить с германским императором в теснейшую дружбу и получить от него какой-нибудь орден, за каковую величайшую честь московский государь хоть сей минут готов в его распоряжение предоставить до тридцати тысяч своей лучшей конницы, которую бравый император сможет использовать в войне против слишком уж обнаглевшей турецкой пехоты, и к орденку ещё приплатить, ведь честь-то неслыханная, несколько мешков серебра, которого, как говорят, в кремлевских подвалах не счесть, что наводит на туманную мысль, уж не сам ли Иоанн отсыпал речистому представителю баварского короля серебра за труды, прямо из кожи лезет чудак. Вероятно, понятный соблазн обзавестись даровой конницей и даровым серебром в обмен на красивую побрякушку возжигает в глазах со всех сторон стесненного императора дьявольский блеск, поскольку буйная фантазия баварского торгаша не останавливается на коннице и серебре. Выясняется, кроме того, что московский царь и великий князь, всё за ту же несравненную милость, готов возратить в объятия помраченного духом магистра Ливонию и подчинить православную церковь римскому папе, хрустальная мечта со всех сторон теснимых католиков, по милости ненавистного Лютера лишившихся золотиносных поступлений из Германии, Швеции, Англии и, того гляди, также из Франции, в которой очень просто могут победить гугеноты, ведомые наваррским королем Анри Бурбоном, конечно, безбожником. А привязать московского царя и великого князя к католической колымаге, по уверению торгаша, до крайности просто: дочь его надобно выдать за какого-нибудь немца средней руки, а сына женить на какой-нибудь немке, тоже, естественно, средней руки, до крайности будет счастлив сердешный отец голубых-то баварских кровей,

готовый экие сокровища метнуть за высокую честь носить на груди австрийской выделки знак, ну там с каким-нибудь бриллиантом, в таком славном деле одного бриллианта для медведя не жаль. Абсолютно вздорный проект, но и самый вздорный проект чрезвычайно хорош, если предложить его с должным апломбом и красноречием и в подходящий момент. Галиматью баварского торгового представителя всерьез обсуждают на нескольких съездах сильно отощавшие германские рыцари, в этом вздорном проекте почуявшие даровую поживу. Германскому императору особенно западает в большую голову приятная мысль о тридцати тысячах конницы. Беспощадные турки стоят непосредственно у его рубежей, есть отчего заболеть его голове. Пока что от злодеев он кое-как прикрывается Словакией и Каринтией, позволяя им во все тяжкие грабить и убивать, ну, этих, как их, славян, а тут экая благодать валит за какой-нибудь орден в придачу к жениху и невесте средней немецкой руки, ведь этого хлама у любого императора хоть отбавляй. Понятно, что ввиду столь радужных перспектив Максимилиану страсть как хочется, чтобы Польша и Литва как-нибудь побыстрее замирились с московским золотым сундуком и чтобы се вместе, ну, эти, как их, славяне валом повалили на турок, спасая просвещенных австрийцев более ценной породы от полного истребления, тогда как он сам безмятежно станет благоденствовать в своей благоустроенной для приятного времяпрепровождения Вене, в случае победы, ну, этих, как их, славян, выиграв безопасность своих рубежей, а в случае поражения не проиграв ничего, разве что орден, невесту и жениха. В свете завоевательных планов этого рода его дальнейшие действия вполне предсказуемы. С великолепной выучкой царедворца германский император дает понять польскому королю и литовскому великому князю, чего не следует в его положении и что следует предпринять. Каким образом остается действовать всеми покинутому польскому королю и литовскому великому князю тоже немудрено угадать. Польскому королю и литовскому великому князю только и остается отправить в Москву представительное посольство, и он отправляет несколько сот разного сорта воевод, маршалков и подскарбиев, едва разместившихся на нескольких сотнях телег, во главе их поставив Ходкевича да Тишкевича, наказав по возможности уступать московским медведям, пока неорденоносным, однако вечного мира, само собой разумеется, не заключать, а перемирие на годик-другой привезти непременно, авось к тому времени германский император, князя и курфюрсты гнев переменят на милость и осознают, где именно засел их кровный враг. Послы прибывают, наполнив Москву конским ржаньем и скрипом сотен телег. Иоанн дает своим приставам наставление:

– Если спросят послы о князе Михайле Воротынском, про его опалу, то отвечать: Бог один без греха, а государю холоп без вины не живет, князь Михайла государю погрубил, и государь на него опалу было положил, а теперь государь его пожаловал по-старому, вотчину его старую, город Одоев и Новосиль, совсем ему отдал, и больше старого.

Возобновляется обыкновенная канитель переговоров с поляками и Литвой, падкими на чужое добро. С наглостью своевольного польского пана, меняющего своих королей по прихоти, от обиды или несваренья желудка, Ходкевич требует возвратить Смоленск будто бы ограбленной и оскорбленной Литве. Невозмутимое московское боярство с величественной важностью требует возвратить кровные русские земли от Киева до Волыни. Обмениваются любезностями, подходящими к случаю. Расходятся, сходятся, снова расходятся. В свободные от канители дни лживый Ходкевич и прибывший с ним перебежчик Козлов под рукой передают прелестные грамоты короля и некоторых литовских магнатов самым влиятельным из подручных князей и бояр, которыми подручные князья и бояре за достойное вознаграждение чинами, землями и звонкой монетой приглашаются на службу в Литву, сопровождая приглашение прозрачным намеком на благоденствие счастливого перебежчика Курбского. Когда всем надоедает переливать из пустого в порожнее, соглашаются, что без Киева и Смоленска вечного мира не будет. Принимаются выработать условия перемирия, причем Иоанн велит передать упрямым послам, что ради спокойствия христиан не требует царского титула, мол, довольно ему

и того, что царем признают его все государи Европы. Переговоры о перемирии ведутся на удивление легко. Польша и Литва отдают Иоанну взятый приступом Полоцк и все ливонские земли, уже занятые московскими гарнизонами, стало быть, в том числе Юрьев и Нарву, для всей московской торговли важнейшие города. Возможно, эта небывалая легкость заставляет всегда недоверчивого Иоанна насторожиться вдвойне. Что он никогда добровольно не уступит своих городов, как уже двадцать лет не уступает ни Смоленска, ни Пскова, ни Великого Новгорода, ясно как день. Что он по старинному праву и писанным грамотам всю Ливонию считает русской землей, тоже ясно как день, он и в войну-то ввязался лишь потому, что упрямый, высокомерный ливонский магистр отказался дани вносить, положенные не прихотью Иоанна, а договором, скрепленным крестным целованием и печатями, а для него договоры, тем более крестное целование святы. На что же рассчитывают Польша с Литвой, домогаясь от него перемирия? Он все-таки соглашается на кое-какие уступки. Он требует отдать ему Ригу, Венден, Ронненбург, Кокенгаузен, а со своей стороны готов отдать Озерище, Лукомль, Дриссу, Курляндию и двенадцать других городов. Кроме того, он отпустит всех пленных без выкупа, а русских пленных предлагает выдать за выкуп, чем кстати демонстрирует польскому королю, живущему на скромное подаяние своих панов, что он в самом деле располагает серьезными средствами, торговый-то представитель баварского короля не всё наврал германскому императору и немецким князьям. Неисключено, что он заранее знает жесткий ответ: послы больше ничего не хотят отдавать. Заводится торг. Устают пререкаться. Тогда лживый Ходкевич, который послан за перемирием на год, не больше чем на два, измышляет каким пируэтом и ответственности своей избежать и перемирие отложить, лучше всего до заповедных польских и литовских календ. Посол изъясняет московским боярам, что такой сложности дело, как перемирие, под силу благополучно решить лишь самим государям, которым ради столь человеколюбивого предприятия следует встретиться лично, словно прежде при подобной okazji не обходилось без личных встреч и не подписывали перемирия и на пять и на семь лет. Обговариваются всевозможные мелочи этикета. По плану Ходкевича их король и великий князь изберет своей ставкой Оршу, тогда как московский государь прибудет в Смоленск, а уж там оба на месте договорятся о дальнейшей процедуре переговоров. Любопытно, что Иоанн вдруг соглашается и на это явное нарушение поседолой традиции вести переговоры только в Москве. Им выдвигается лишь одно маленькое условие: в своем шатре в первый же день он устроит для польского короля и литовского великого князя обед. Тут внезапно впадает в благородное негодование лживый Ходкевич: первым отобедать в шатре московского государя есть несмываемое оскорбление для польско-литовского государя. Иоанн мгновенно ухватывается за возражение, рожденное спесью, и повелевает переговоры прервать. Разумеется, приобрести всю северную и восточную части Ливонии, включая такую бесценную приморскую базу, как Нарва, в которой нет отбоя от европейских купцов, богатеть на торговле, спокойно заниматься дальнейшим переустройством громоздкого московского воинства, поставить надежный заслон крымской орде с помощью ещё одной линии умело расставленных крепостей и вкушать все прелести как внутреннего, так и внешнего мира, может быть, и в самом деле уйти на покой, в монастырь, было бы для него соблазнительно, ведь по натуре он человек не воинственный. Однако Иоанн, готовый откладывать, ждать, способный на незначительные уступки любому противнику, будь то польский король, ливонский магистр или собственные витязи удельных времен, не способен хотя бы на один волос отступить от своих излюбленных принципов, а его излюбленный принцип один везде и во всем: чужого не надо, а своего не отдам. Стало быть, он органически не способен уступить ненасытным полякам южную и западную Ливонию, в особенности такие важнейшие торговые гавани, как Рига и Колывань, как в русских летописях и грамотах прописан немцами обезображенный Ревель, выгодные для московской торговли, однако опасные конкуренты, пока остаются в польских, литовских или шведских руках, понятно, что закрытыми для московских торговых людей. А тут ещё странная мягкость, неподвижная уступчивость

со стороны польско-литовских послов, которые прямо-таки криком кричат о явной слабости той стороны, о которой он, кроме того, не может не знать от лазутчиков и немецких купцов, приходящих с товаром и за товаром в Москву. Иоанн размышляет, просчитывает возможности, это главное его преимущество в любых политических обстоятельствах. И тут есть над чем призадуматься. Если он взял играючи Полоцк, лучшую литовскую крепость, если он два раза подряд благополучно отбил от согласованного нападения татарской орды и литовских полков своим расхлябанным, более стойким в обороне, чем удачливым в нападении воинством, то нынче, когда польско-литовская сторона очевидно колеблется, ему, благодаря выделению в особый двор, удалось сформировать новое, дисциплинированное, ему одному подвластное войско, во главе которого он собственной волей может поставить не престарелого трусоватого Ивана Бельского, не приглуповатого Ивана Мстиславского, а решительного, отличившегося победами Алексея Басманова, ему ничего не стоит вдребезги расширить в общем-то жидких на расправу литовцев и изнеженных, распутных поляков, как он убедился в этом под Полоцком. Единственное сомнение удерживает его: спесивые, малоспособные земские воеводы вновь его предадут, а если прямо не предадут, разницы мало, всё равно рискованно полагаться на них, а без земского ополчения ему тоже не обойтись, в опричных полках всего тысяч шесть. Он отыскивает способ привязать их к себе хотя бы на время похода. Он созывает земский собор, однако это не тот освященный собор, на какие много раз собирались архиепископы, епископы, игумены, архимандриты и думные бояре. Он рассчитывает вновь смирить подручных князей и бояр грозным гласом народным, как сделал это, сидя сиднем в Александровой слободе. На этот собор он приглашает, разумеется, высшее духовенство и знатнейших бояр, но вместе с ними на собор съезжается приблизительно две сотни служилых людей и около ста самых уважаемых московских гостей и купцов. Всё это люди по-тогдашнему выборные, в его государевой воле не состоящие. Архиепископы, епископы, игумены и архимандриты ставятся освященным собором. Чин боярина или окольного дается самими боярами по расчету родства, то есть тоже по своеобразному выбору. В торговых товариществах также избирают главу, конечно, из самых богатых, оборотистых и предприимчивых, поскольку в сознании русского человека одно и то же понятие, что богатый, что умный. Старшие из служилых людей тоже избираются в каждом уезде. Таким образом, эти выборные представители разных сословий представляют собой нечто вроде совещательного собрания, которое царь и великий князь приглашает в помощь себе и от которого ждет обдуманного совета, как ему поступить. Одно его намерение осознанно и очевидно: рассылая приглашения на земский собор, он стремится поставить людей, отличившихся службой и принятых в его царский двор, рядом с людьми, возвышенными только происхождением от тридцатого деда. С этой целью он не выделяет особо князей, а детей боярских приравнивает к служилым людям и старшинам торговых рядов. Он намеревается смешать, посадить всех вместе бояр, окольных, казначеев, думных дьяков, служилых людей первой статьи, служилых людей второй статьи и торговых людей. Примечательно, что среди приглашенных служилых людей первой статьи всего тридцать три княжеские фамилии и шестьдесят одна не княжеская, а среди служилых людей второй статьи всего одиннадцать княжеских, зато восемьдесят девять фамилий не княжеских. Земский собор открывается двадцать шестого июня 1566 года. Ничего удивительного, что в эти жаркие летние дни в Москве гремят грозы и льют проливные дожди, и летопись отмечает, что в канун этого дня “изошла туча темна и стала красна, аки огнена, и опосле опять потемнела, и гром бысть и трескот великий и молния и дождь, и до четвертого часу”. Тем не менее, по городу расплозаются темные слухи, кому-то угодные, что сии знаки зловещие свыше дадены неспроста, что хорошего нечего ждать, что приключится беда. В самом деле, ни высшее духовенство, ни князья и бояре не желают судить и рядить за один с простыми дворянами, тем более с человеком торговым, который они презирают и не пускают в хоромы свои на порог. Все судят и рядят отдельно, каждое сословие само по себе, в своем месте, особно. Иоанн сдерживает себя, но лично говорит только с архиеписко-

нами, епископами, игуменами и архимандритами и задает им лишь один, вполне справедливый вопрос: “Как нам стояти против своего недруга польского короля?” и удаляется, предоставляя своим богомольцам благую возможность судить и рядить на свободе по совести. В свою очередь, благодарные за доверие богомольцы ставят тот же вопрос перед каждым сословием, по всей вероятности, через письмо: “На какове мере государю нашему с королем помириться?” и также предоставляют сословиям благую возможность судить и рядить на свободе по совести. Сословия судят и рядят, понятно, прикидывая в первую голову свои выгоды и невыгоды от мира или войны, и подают царю и великому князю свое мнение тоже через письмо, может быть, потому, что Иоанн, в сущности, уверенный враг всякого представительства при государе, который только перед Богом держит ответ, не желает умаляться до разговора с представителями сословий, может быть, потому, что действительно предоставляет им полную свободу суждения, а может быть, и потому, что желает иметь в своих руках документ. Возникает любопытная ситуация. Коллективная ответственность сама по себе исключает всякую мысль о возможности преследования и наказания с его стороны, не станет же царь и великий князь рубить головы сотням людей, им самим и собранным на совет, даже если их мнение окажется для него неудобным. Главное же, в этом собрании некому и страшиться опалы, тем более казни. Его суровые меры вообще не касаются духовенства, как они не касаются служилых и торговых людей. Если кто и рискует из числа этих неожиданно призванных на совет представителей Русской земли, то одни князья и бояре. Как они постигают общее настроение, трудно сказать, однако все представители Русской земли придерживаются единого мнения: мир невозможен, необходима война. Поразительно, что первыми за войну высказываются именно богомольцы, причем толкуют не столько о священной необходимости защищать от супостата религию и святыни, сколько о земной необходимости взять под защиту интересы торговли. Девять архиепископов и епископов, четырнадцать игуменов и архимандритов и девять особо почитаемых старцев пишут царю и великому князю, ставят свои подписи и прикладывают печати:

«Велико смирение государское! Во всем он уступает, уступает королю пять городов в Полоцком повете, по Задвинью уступает верст на 60 и на 70 в сторону, город Озерище, волость Усвятскую в Ливонской земле, в Курской земле за Двиною 16 городов, да по сию сторону Двины 15 городов ливонских с их уездами и угодьями, пленных полочан отпускает без окупы и без размены, а своих пленных выкупает: государская перед королем правда великая! Больше ничего уступить нельзя, пригоже стоять за те города ливонские, которые король взял в обереганье, – Ригу, Венден, Вольмар, Ранненбург, Кокенгаузен и другие города, которые к государским порубежным городам, псковским и Юрьевским, подошли; если же не стоять государю за эти города, то они укрепятся за королем, и вперед из них будет разорение церквам, которые за государем в ливонских городах; да не только Юрьеву, другим городам ливонским и Пскову будет большая теснота, Великому Новгороду и других городов торговым людям торговля затворится. А в ливонские города король вступился и держит их за собою не по правде, потому что, когда государь наш на Ливонскую землю наступил за её неисправление, магистра, епископа и многих людей пленом свел, города ливонские побрал и православием просветил, церкви в них поставил, тогда остальные немцы, видя свое изнеможение, заложились за короля со своими городами. А когда государь наш на Ливонскую землю не наступал, то король мог ли хотя один город ливонский взять? А Ливонская земля от прародителей, от великого государя Ярослава Владимировича, принадлежит нашему государю. А и то кролёва правда ли? Будучи с государем нашим в перемирье, королёвские люди пришли да взяли наш город Тарваст и людей свели. И наш ответ, что государю нашему от тех городов ливонских, которые король взял в обереганье, отступить непригоже, а пригоже за них стоять. А как государю за них стоять, в том его государская воля, как его Бог вразумит, а нам должно за него, государя, Бога молить, а советовать нам в том непригоже. А что королёвы послы дают к Полоцку земли по сию сторону вверх по Двине на 15 верст, а вниз на 5 верст, а за Двину земли не дают, рубежом Двину станоят, то

можно ли, чтоб городу быть без уезда? И села и деревни без полей и без угодий не живут, а городу как быть без уезда?..»

Бояре, окольные и приказные люди составляют свою советную грамоту с осторожностью, с оговорками, но рассудительно, по-хозяйски, подписывают и крест целуют на ней:

«Ведает Бог да государь, как ему, государю, Бог известит, а нам кажется, что нельзя немецких городов королю уступить и Полоцк учинить в осаде. Если у Полоцка заречье уступить, то и посады заречные полоцкие будут в королевской стороне; по сю сторону Двины в Полоцком повете все худые места, а лучшие места все за Двиною. И если в перемирные лета литовские люди за Двиною поставят город, то, как перемирие выйдет, Полоцку не простоят, а если в ливонских городах у короля прибудет рати, тогда и Пскову будет нужда, не только Юрьеву с товарищами. Так чем давать королю свою рать пополнять, лучше государю теперь с ним на таком его высоком безмерье не мириться. Государь наш много сходил ко всякому добру христианскому и на себя поступал, а литовские послы ни на какое доброе дело не сошли: как замерыли великим безмерием, так больше того и не говорят, потому лучше теперь, прося у Бога милости, государю помышлять с королем по своей правде; король над государем верха не взял: ещё к государю Божия милость больше прежнего. О съезде у бояр, окольных и приказных людей такая мысль: литовским послам о съезде отказать; боярам с панами на рубеже быть непригоже и прежде того не бывало; если же король захочет с государем нашим съехаться и договор учинить, то в этом государи вольны для покоя христианского. Известно, послы литовские все о съезде говорят для того, чтоб немного поманить, а между тем с людьми пособратиться, с поляками утвердиться, Ливонскую землю укрепить, рати в ней прибавить; а по всем вестям королю недосуг, с цесарем у него брань, а если Польша будет в войне с цесарем, то Ливонской земле помощи от поляков нечего надеяться. По всем этим государским делам мириться с королем непригоже; а нам всем за государя головы класть, видя королевскую высоту, и надежду на Бога держать: Бог гордым противится; во всем ведает Бог да государь; а нам как показалось, так мы и изъявляем государю свою мысль...»

Видимо, на этот счет между боярами, окольными и приказными людьми согласие установилось не показное, а истинное, и мыслят они самостоятельно, по своему разумению, не забывают и в этом своем приговоре провести жирную черту между делом земским, Боярским, когда боярам с панами съезжаться на рубеже непригоже, и государевым, когда государь может и съехаться с королем, если не почитает такой съезд для себя унижительным, ему о своей чести решать, а своей чести бояре никому уступить не хотят. Больше того, несогласным предлагается высказаться отдельно, и лишь один Висковатый лично отписывает царю и великому князю, предлагает перемирие все-таки подписать, однако с тем непременным условием, чтобы беззаконные литовские рати оставили Ригу, не препятствовали московским полкам добиваться Риги вооруженной рукой в перемирные годы и после перемирных лет также не вступались за Ригу.

Служилые люди отвечают по-солдатски просто и твердо, потому что живут не столько скудным доходом с тощих замосковных земель, сколько военной добычей, тоже отвечают по принципу, что чужого не надо, а своего не дадим, тоже подписывают и тоже целуют крест:

«Мы, холопы государевы, за одну десятину земли Полоцкого и Озерицкого поветов головы положим, чем нам в Полоцке помереть запертыми; мы, холопы государские, теперь на конях сидим и за государя с коня помрем. Государя нашего перед королем правда; как государь наш Ливонской земли не воевал, тогда король не умел вступаться. По-нашему, за ливонские города государю стоять крепко, а мы, холопы его, за государево дело готовы...»

Ухватистые люди торговые тоже безоговорочно высказываются за упорное продолжение войны, хорошо понимая значение Риги для процветания московской торговли, оговариваются, что люди они неслужилые, службы не знают, однако за то, чтобы рука государя была везде высока, готовы положить свои животы, то есть дать деньги на содержание войска, а понадобится, так и головы за государя сложить, всё почти так же, как в ополчении Смутного времени,

освободившем от поляков Москву, также подписываются под грамотой и также целуют крест на верность своему государю.

Получив 339 подписей под четырьмя грамотами, Иоанн принимается исподволь готовить новое наступление, возможно, не без денежной помощи московских тороватых торговых людей, поскольку главной его силой по-прежнему остается наряд, то есть тяжелые осадные пушки, а отливка, содержание и передвижение пушек, ещё не знакомых с колесным лафетом, очень дорого стоят. Боярская Дума от его имени объявляет заартачившимся послам, что боевые действия прекращаются на неопределенное время, необходимое для размена пленных, и что царь и великий князь лично через своих послов объяснится с их королем, как дальше им жить. Вполне уяснив, что мира не будет, лживый Ходкевич с громадным обозом, который поднимают 1289 лошадей, отправляется восвояси в Литву, увозя с собой тайные грамоты кое-кого из князей и бояр, порешивших между собой отозваться на сулящее большие прибыли предложения польского короля и литовского великого князя по служить ему, а не их государю, которому крест целовали, иные раза по два и по три. В хвосте обоза пристраивается ещё несколько печальных телег. Пока решаются главные проблемы особного двора и нового, опричного войска, печатный двор на Никольской остается во владениях земщины, стало быть, остается безхозным. Иоанн, верный своему слову не мешаться в эти владения, вынужден оставить первопечатников без своего покровительства. Тотчас все староверы, твердо убежденные в том, что малейшее исправление богослужебных книг ведет к разрушению православия, а это почти всё духовенство, состоящее из любостыжателей, и почти все князья и бояре, едва знакомые или вовсе не знакомые с грамотой, принимаются измышлять лукавые способы вытеснения первопечатников из Москвы, но как-нибудь так, чтобы не вызвать праведный гнев царя и великого князя. Способ, естественно, измышляется самый простой. Отныне земщина должна оплачивать все расходы на книгопечатание, и эта прямая зависимость от денежных средств дает духовенству неумолимое право следить, чтобы в задуманном издании «Часослова» не было изменено ни буквы, ни запятой. По этой причине Иван Федоров и Петр Мстиславец приступают к изданию «Часослова» в его прежнем виде, оставляя в неприкосновенности даже явные описки и режущую глаза бессмыслицу, что как раз наносит громадный ущерб православию. Однако, не закончив это издание, совестливые первопечатники готовят другое издание, по возможности исправленное по старинным, правда, русским рукописным изданиям, тоже мало исправным, что не может не вызвать притеснений со стороны староверов, горой стоящих за каждую букву. Неизвестно, какими пакостями, членовредительством или смертоубийством могло бы окончиться всегда ожесточенное столкновение староверов с новаторами, если бы лживый Ходкевич на прощанье не попросил царя и великого князя отпустить типографию и печатников в имение своего брата, литовского великого гетмана, который, всё ещё оставаясь верным православию предков, в своем селе Заблудове выстроил православную церковь во имя Пресвятой Богородицы и чудотворца Николы и хотел бы печатать православные богослужебные книги во славу и на сбережение православия. Неясно, Иоанн ли, расчетливый по уму, соблазняется мыслью способствовать распространению православия в Литве, по натуре доброжелательный, всегда уходящий от прямых столкновений, если усматривает такую возможность, с облегчением отпускает Ивана Федорова и Петра Мстиславца в чужие края, куда не отпускает никого из своих воевод, и так выручает первопечатников от новых, может быть, кровавых гонений, боярская ли Дума с радостью выталкивает их за пределы Московского царства во имя обережения православия во всей его испорченной чистоте, только типографскую машину, купленную, по слухам, в Константинополе, разбирают, укладывают на телеги, и оба страдальца книгопечатания отправляются в новое долгое странствие, к своей новой, ещё более блистательной славе, но уже не на Русской земле.

Глава вторая

Заговор

Кажется, соборный приговор в полном согласии с задушевными замыслами царя и великого князя, в особенности столь единодушный приговор князей, бояр, духовенства, служилых и торговых людей должен наводить на вполне здравую мысль, что между Иоанном и витязями удельных времен понемногу устанавливается если не полное единодушие, то хотя бы долговременное перемирие, по крайней мере до полной победы в Ливонской войне. Во всяком случае для перемирия имеются все основания. Иоанн действует в духе своей излюбленной политики. Поначалу он смиряет витязей удельных времен, и только их, опалами, казнями, препровождением на службу в отдаленные крепости, затем без проволочки сменяет гнев на милость, отменяет опалы и жалует вчерашних опальных от всего сердца, рассчитывая впредь на их верную службу, поскольку людей вынужден и умеет беречь, и жалует так широко, точно спешит заглаживать свою сознаваемую вину перед ними, сознаваемую вопреки тому очевидному обстоятельству, что именно на этих опальных лежит тяжкая вина и перед ним и перед Русской землей, которую они обязаны защищать.

Собственно, неодолимый трагизм самого времени в том, что витязи удельных времен виновны перед ним самим фактом своего бытия. Они своевольны, поскольку у каждого большого и малого удельного князя собственный полк под рукой, и пока кроме опричного царского войска будут существовать десятки мелких и крупных полков, которые вольны исполнять или не исполнять повеления царя и великого князя, до тех пор нечего и мечтать о полной победе над Польшей, Литвой и татарами, уже слабосильными по отдельности, но чрезвычайно опасными своим единением и предательством его собственных воевод. Скорее всего его ждет полное и позорное поражение, пока он не лишит подручных князей и бояр удельных дружин и не искоренит своеволие. В том-то и вся беда этого переломного, переходного времени, что для полной победы над внешним врагом необходимо собрать все наличные силы в единый кулак и одной воле их подчинить, то есть воле царя и великого князя, тогда как собрать их в единый кулак невозможно, не изменив положение витязей удельных времен или не истребив их всех поголовно, при отчетливом понимании, что никто не в состоянии совершить ни того, ни другого. Самой большой, самой досадной помехой в собирании наличных сил в единый кулак служит беспокойный удел Владимира Старицкого. Мало того, что князь Владимир Андреевич располагает самыми крупными вооруженными силами, которые имеет право использовать по своему произволу, он как двоюродный брат имеет кое-какие права на московский престол и подает остальным удельным князьям и боярам дурной пример неповиновения или предательства, как приключилось во время похода на Полоцк, когда его человек предупредил подлца Радзивила о движении московских полков. Понятно, что вокруг него, безопасного самого по себе, сбиваются в кучу все недовольные, умышляющие заменить грозного Иоанна этим малодаровитым, инертным, лишенным государственной мудрости и потому таким удобным удельным князьком. Разумеется, с образованием значительных, хорошо организованных, поновому управляемых опричных войск Иоанну было бы смешно опасаться прямого вооруженного выступления как самого князя Владимира, так и любого множества мятежных князей и бояр, то есть того устарелого ополчения служилых людей, не пригодного для наступательных действий и в своем беспорядочном конном строю не способного брать крепостей, да и сами князья и бояре ощущают свое бессилие с появлением опричного войска. У недоброжелателей царя и великого князя, отчасти невольных, приверженных понятиям удельных времен, отныне остается лишь отравленное оружие тайного заговора с целью свержения или даже убийства того, который, с таким упорством, с такой последовательностью посягает на их отжившие век

привилегии, или тайное бегство в пределы Литвы, где их привилегии, на беду Литве, никто не думает отменять. Сам князь Владимир ни на какой заговор, тем более на убийство явно не годен, слишком безволен и слаб человек. Но если он вздумает или его надоумят перебраться на службу к польскому королю и литовскому великому князю, к тому же вместе с уделом, по всё ещё не отмененному удельному праву служить кому хочешь, обороне Московского царства будет нанесен непоправимый урон.

В качестве государя Иоанн не может, не имеет права мириться с таким легко уязвимым, прямо-таки безобразным состоянием своей обороны, однако как богобоязненный христианин он не способен ни с того ни с сего, без очевидной вины подвергнуть опале удельного князя, тем более если этот удельный князь приходится ему двоюродным братом, равным или почти равным ему по рождению. В интересах безопасности государства ему необходимо срочно принимать самые серьезные меры, чтобы князь Владимир Андреевич каким-нибудь образом, вольно или невольно, не навредил, но какие же он может меры принять, если после последнего заговора Владимир покаяться, крест целовал и пока что крестного целования видимо не нарушил ничем?

В конце концов его гибкий изобретательный ум все-таки измышляет замечательный способ и опале двоюродного брата не подвергать, и принять должные меры для прочной обороны литовских украин. Осмыслив опыт набора служилых людей в отборную тысячу, он предлагает князю Владимиру обменять его порубежный удел, по духовному завещанию всегда дающийся младшему из сыновей московского великого князя, четвертому или пятому, на владения, расположенные подалее от соблазнительных рубежей, скажем, в Дмитрове, которые по наследству переходили ко второму сыну московского великого князя, то есть к старшему после первонаследника, и потому в понятии ревнителей родословий стоят значительно выше Старицкого удела. Он не жалеет ни почета, ни выгод, лишь бы держать князя Владимира подале от польского короля и литовского великого князя, да и хлопот в этих местах двоюродному брату придется поменьше, не надо будет свой полк постоянно настороже против литовцев держать. Правда, обмен нелегко совершить, подручные князя и бояре станут роптать по темным углам, что, мол, царь и великий князь кладет опалу на ни в чем не повинного человека, что он, стало быть, деспот и зверь. Тогда, чтобы предотвратить нежелательные кривотолки и пересуды, Иоанн обмен поручает произвести боярской уме по своему усмотрению, а сам демонстративно устраняется от переговоров с удельным старицким князем, тем более устраняется от подробностей и формальностей сделки, стремясь показать, что обмен предлагает исключительно из военной необходимости, а не из опасения новой выходки надоевшего претендента на наследственный стол и уж никак не из жестокости нрава, а чтобы ни у кого на этот счет не оставалось крамольных сомнений, возвращает князю Владимиру подворье в Кремле. Обменом занимается один из самых влиятельных, самых почтенных думных бояр, конюший Иван Петрович Федоров, земский дворецкий Никита Романович Захарьин-Юрьев и несколько других не менее влиятельных лиц, что тоже как будто не может не свидетельствовать о наступлении благодатного перемирия между земщиной и особным двором. Своим приговором эти уважаемые бояре отписывают к земщине Алексин, Старицу и Верею, а князю Владимиру передают в вотчинное владение Дмитров, Боровск, Звенигород, Стародуб Рязполовский с посадом и городищем, с многими селами и волостями в верхнем течении Луха и Тезы, в их числе волость Пожар, владение худородных Пожарских, муромское село Мошок, а также в Московском уезде села Туриково и Собакино, бывшие владения князя Щенятева, так странно ушедшего в монастырь и отошедшего там в иной мир. Само собой разумеется, новые вотчины князя Владимира подпадают под общее правило, по которому ко всем полученным городам должны тянуть судом и деньгами все вотчины, все купли, все монастырские и церковные земли. Таким образом, если обмен и может считаться опалой, то это обильно позолоченная опала, поскольку князь Владимир получает значительно больше того, что им оставлено в Старице, даже много больше того,

если учесть, что через Дмитров идет богатейшая торговая дорога на Бежецкий верх и далее по озерам в Балтийское море, что обеспечивает обширные пошлыны удельной казне. Чему ж удивляться, если в свои новые вотчины князь Владимир перебирается неторопливо, спокойно, с громадным обозом, до последней нитки увязав всё имущество. Его новый удельный полк должны составлять местные служилые люди, сидящие на поместьях, не связанные с ним ни сладостными воспоминаниями о седой старине, ни родством, ни семейной традицией, которая службу князю передает от отца к сыну и внуку, и уже одна эта полная перемена состава полка превращает опасного претендента на царский престол в почтенного, но вполне безобидного, не внушающего особенных опасений владыку.

Однако самый обмен одного удела на другой, даже наивыгодный и наипочтенный, таит в себе едва различимый, но чрезвычайно вредный подвох, который видит глубокий государственный ум Иоанна и который пока что не приходит на ум беспечным князьям и боярам, тем более тихоумному князю Владимиру. Сущность подвоха заключается в том, что по старинному удельному праву, которое испокон веку действует при обмене княжеских и боярских вотчин едва ли не со времен Мономаха, владельцы вотчин и сидящие на поместьях служилые люди получают свободу: “а боярам и детям боярским и слугам промеж нас волным воля”, другими словами, все они с этого дня вольны служить кому захотят, новому владельцу удела, другому удельному князю или царю. Предоставленная в строгом соответствии с обычаем, с возлюбленной отчиной и дединой, которая успешно разлагается внутри Московского царства давлением нового времени, эта вольная воля оборачивается неожиданным, едва ли в полной мере предвиденным самим Иоанном запустением и прежнего Старицкого удела, и нового удела князя Владимира. Настоящий поток служилых людей устремляется в опричное войско царя и великого князя, издавна служивших старицким удельным князьям и теперь не желающих оставаться в расположении бедной, скудной поместьями земщины, или служивших прежним владельцам Дмитрова, Звенигорода, Боровска, Стародуба и теперь не желающих служить Владимиру Старицкому. На этом вполне добровольном и почтенном обмене потрясенная земщина внезапно теряет чуть ли не целый полк вооруженных людей, тогда как царь и великий князь прибавляет к опричному войску чуть ли не целый полк добровольно перешедших к нему и потому надежных, добросовестных воинов. И так же внезапно прозревшим князьям и боярам становится ясно: ещё два-три таких добровольных, выгодных, почетных обмена с потерей массы служилых людей, и главнейшие, своевольнейшие из удельных князей и московских бояр останутся вовсе без своих конных и оружных дружин. Напротив, укрепленный обменом владений князя Владимира, за которым последовало пополнение опричного войска, Иоанн может позволить себе милосердие, неуклонно следуя своему разумному правилу жаловать добрых и наказывать злых. По его наблюдениям, сидение в Кирилловом Белозерском монастыре пошло князю Михайле Воротынскому явно на пользу, и он не только возвращает ему вотчины на правах удельного княжества, причем его собственные, Одоев и Новосиль, близко расположенные к соблазнительным литовским украинам, удельном княжестве возрождаются старинные обычаи и чины, князю Михайле, как прежде, служат бояре и воеводы, вновь у него под рукой целый полк, правда, с тем же коварным правом перехода на службу к другому удельному князю или царю. Затем заподозренным в сношениях с зловерной Литвой, склонным к измене Ивану Охлябину и Захарии Очину-Плещееву он позволяет взять поручителей в том, что впредь служить станут верой и правдой, ограничившись обязательством поручителей выплатить, если беспокойные витязи удельных времен всё же изменят, за каждого из них приблизительно по двадцать пять тысяч рублей, то есть таким способом заручившись хоть и слабой, но всё же уверенностью, что сами поручители станут за ними в оба глаза глядеть, дорожа своими деньгами. Князю же Владимиру Старицкому он ставит одно стеснительное условие, которое может удержать его от побега: отныне он должен жить только в Москве. Наконец он возвращает с восточных украин ярославских, ростовских, стародубских и оболенских князей по заведен-

ному порядку ежегодного обновления гарнизонов всех крепостей. Разрядные книги гласят, что в 1566 году “государь пожаловал, ис Казани и из Свияжского опальных людей дворян взял, а приехал в Казань з государевым жалованьем Федор Семенов сын Черемисинов майя в 1 день. А в Казани остались воеводы годоватъ и поместья у них не взяты казанские: князь Петр да князь Григорий Ондреевичи Куракину...” В замосковные уезды и волости возвращается по меньшей мере половина переселенных на службу суздальских князей и бояр и почти все их служилые люди. Из 39 ярославских князей возвращается 35, из 20 ростовских 14, из 25 стародубских 22. Они садятся на свои прежние вотчины со своими дружинами или с ними производится такой же выгодный и почетный обмен, какой земская боярская Дума учинила с Владимиром Старицким, понятное дело, с той же вольной волей служить кому захотят для того, кто подпадает под новую власть, и служилые люди в своем большинстве лишь год назад посаженные здесь на поместья, предпочитают поступать в опричное войско, а следом за ними на новые, опричные земли тишком да шажком перебираются лукавые русские землепашцы, связанные со своим помещиком давностью лет или долгами, в надежде за верность получить от него послабление, или неторными тропами прокрадываются в ещё не обжитые северные леса, взятые в особый двор царем и великим князем, и возвращаются к прадедовскому подсечному земледелию, которое дает урожай в три раза больший, чем нищее трехполье освоенных, насиженных, паханных-перепаханных, скудеющих без удобрений замосковных земель. Главное же, беглые землепашцы проживают в тех лесах сравнительно вольно, без помещиков, без удельных князей, без бояр, под надежной защитой опричного войска, “в государевой вотчине, а в своем поселье”. Так всё приметней пустеют замосковные нещедрые нивы, оставляя без рабочих рук владельцев земли, от рядового помещика до родовитого удельного князя, от московского боярина до монастыря, и стремительно ширятся, населяются, богатеют прежде почти безлюдные пространства по берегам Белого моря к западу от Двины, с постоянными поселениями, с развитыми промыслами, Ненокса и Уна по Летнему берегу, Порог на Онеге, Уножда, Нюхча, Колежда, Сумская, Шуйская, Кемская на Карельском берегу, Кереть на Дикой Лопе и далее Черная река, Ковда, Княжая губа, Кандалакша, Порья губа, Умба, Варзуга, Кола и Печенга. Следом за ручейками переселенцев, по милости князей, бояр и монастырей лакомых до дарового труда, грозящими превратиться в реку, так же скромно, аккуратно, не бросаясь в глаза шествуют загребистые монастыри, сначала некрупные, местные. Позднее, почуя добычу, обитатели центральных уездов, мощные хозяйственные и торговые центры, раздобревшие на крестьянском труде, первым близкий царю и великому князю Троицкий Сергиев монастырь, искусно оправдывая свое непрошеное пришествие в грамотах на имя богомольного государя: “монастырь место не вотчинное, пашенных земель нет, разве что соль продадут, тем и запас всякой на монастырь купят и тем питаются”, не скудно питаются, по правде сказать, в Соловецком монастыре, самом значительном в северном крае, золото и серебро считают пудами, и если принимают неимущих и странников, то более из расчета, чем из любви к ближнему богомольной души, своим гостеприимством вызывая уважение наивного землепашца, зверолова и рыбака, чтобы его руками прибавлять в подвалы новое золото и новое серебро. Вся не скудеющая масса пришельцев, труд которых монастыри правдами и неправдами обращают на пропитание иноков, кроме исконной для русского человека возни на земле, варит соль и приспособляется к промыслу морского зверя и рыбы, тогда как бедные иноки выступают главными торговцами края, поставляют рыбу и соль в Каргополь и в Вологду, торговую столицу в особном дворе, сами поморы по Двине и Онеге и зимником тоже ходят с этим важным товаром, меняя соль и рыбу на хлеб. Со своей стороны, сюда тянутся торговые люди из Великого Новгорода и Заонежья со своими товарами и в обмен на них увозят рыбу и соль. Неутихающее переселение из волостей Замосковья в пределы обращенного на север особного двора, случайно, необдуманно вызванное преобразованием Иоанна, которое заботит лишь крепкое войско, приводит сперва к оживлению, затем к удивительному расцвету целого края. К востоку, между Мезенью и Двиной, по Пинеге и

Кулою, почти сплошь зарождаются крестьянские волости, дающие Северу хлеб, а московской торговле ценную моржовую кость. Населяется и возрождается хлебородная Важская волость, за десять лет до того разоренная, почти запустевшая своекорыстным проворством наместников и бившая на них царю и великому князю челом во спасение, он и спас, тоже мало заботясь об этом, всего лишь отгородив мирный труд от набегов язычников. В Важской волости переселенцы возрождают чуть было не угасшее хлебопашество на разросшихся пустошах и продают хлеб государевым людям на хлебные дачи московским стрельцам и служилым казакам, сидящим с немалом числе по мелким крепостям и острогам, которые составляют единственную оборону этих беспоместных, безвотчинных и оттого стремительно богатеющих палестин.

Кажется, Иоанн имеет право гордиться собой. Он явным образом превосходит земщину, переданную в полную власть своевольным, своекорыстным князьям и боярам, этим “волкам”, по выражению ремесленных и торговых людей, превосходит и организацией воинских сил, и очевидным процветанием хлебопашества, солеварения, рыбного промысла и торговли в очищенных от воровства и разбоев опричных владениях, которых никто не собирается и не смеет не то что бы разорять, как проделывали испокон веку родовитые наместники в прежде беззаконные времена, а тронуть хоть пальцем, на этот счет Иоанн устанавливает в особом дворе твердый и жесткий порядок, оттого и результат налицо.

Все-таки “туча темна и стала красна, аки огнена” оборачивается темным знаменем. Незадолго до её восхождения на московские давно уже неясные небеса с кафедры первосвященителя внезапно возвращается в Чудов монастырь митрополит Афанасий, ничем не отметивший свое пребывание на столь высоком посту, уходит, может быть, из честного сознания своей неспособности руководить духовной жизнью всего Московского царства, а как он сам говорит, по своим немощам, что тоже могло приключиться, поскольку он человек пожилой. Зато абсолютно не похожи на правду измышления беглого князя, который доносит доверчивому потомству, будто Афанасий покидает кафедру от стыда и полнейшего несогласия с Иоанном, которому не может простить невиданных ужасов, творимых разнузданными опричниками, хотя те ужасы пока ограничиваются несколькими казнями и переселениями на службу полутора сотен князей и бояр, не желающих служить где велят, тем более служить в открытой для нападений, порубежной Казани, и всего год спустя возвращенных, как полагается по обычаю, к родным очагам. Ещё невероятней дальнейшие рассказы заведомого клеветника, будто Иоанн предлагает возвести в сан митрополита казанского архиепископа Германа, известного насильственным обращением в православие казанских татар, черемис и мордвы, из боярского рода Садыревых-Полевых, стало быть, прочно связанного с недовольным боярством. Герман будто отказывается, затем соглашается, даже переселяется на митрополичье подворье в Кремле, однако два дня спустя тихими, понятное дело, речами пытается устыдить Иоанна и побудить его к восстановлению прежнего, доопричного, привольного житья-бытья с грабежами наместников и правом служить где хочу, а главное прекратить гонения и жестокости, то есть, выходит, не отправлять на службу тех князей и бояр, которые почитают опалой служить в глухомани. Иоанн будто выслушивает эти тихие, по уверению беглого князя, безусловно правдивые речи, однако его жаждущие новой крови приспешники во главе, а как же иначе, с Алексеем Басмановым, которого беглый князь ославил антихристом, нашептывают ему, что этот поп обернется похуже Сильвестра, поскольку для беглого князя лучше и выше Сильвестра нет никого. Иоанн будто бы распаляется от этих нашептываний, изгоняет преосвященного Германа из митрополичьих палат, непотребно бранясь: “ты ещё и на митрополию не возведен, а уже связываешь неволей меня”, и повелевает, тут в показаниях беглого правдолюбца выходит заминка, не то отравить непокорного пастыря, не то удавить, вопреки исторически достоверному факту, что отравленный или удавленный Герман благополучно присутствует на освященном соборе, где подает свой голос за нового митрополита, и кончает дни своей смертью шестого ноября 1567 года, полтора года спустя после того, как его повелел отравить или удавить мерзопакостный

царь и великий князь Иоанн, тотчас видать, до какого безобразия докатился сей озлобленный человек, изменник, предатель, беглец, водивший против собратьев чужие полки, сжигавший православные храмы, разрушавший монастыри, причем никто нигде и никогда более не упоминает, кроме него, о нелепо придуманном происшествии с Германом.

Избрание нового митрополита происходит и проще по сопровождающим его обстоятельствам, и с истинной терпимостью со стороны Иоанна, который уж если бы захотел вытолкать вшаей служителя церкви, так, верно, скорее должен бы вытолкать нового претендента возглавить русскую православную церковь.

Земский собор, единодушно сказавший слово в пользу войны за ливонские города, плавно перетекает в освященный собор московского духовенства, которому надлежит озаботиться замещением освободившейся кафедры. Высокий сан Иоанн просит принять игумена Соловецкого монастыря, и просит именно его неслучайно, не в гневе, не впопыхах после будто бы отравления или удушения всё ещё живого архиепископа Германа.

Степан Колычев, отец будущего митрополита, давно замечен в кругу ближних бояр великого князя Василия, которого Иоанн почитает как правитель и сын и отличает всех тех, кто служил верой и правдой отцу. Стало быть, его сын первые годы проводит при московском дворе и нередко играет с заброшенным сыном покойного великого князя, что не может не сблизить входящего в зрелые годы боярина и несчастного отрока, как эта сладчайшая радость общения не может не запомниться на целую жизнь. Правда, это очень важно отметить, идиллия их отношения вскоре грубо разрушается взметнувшейся смутой подручных князей и бояр. Беда обостряется как раз тем, что бесчисленная родня Федора Колычева служит удельному князю Андрею Старицкому, чего после разгрома его полка мятежники никому не могут простить. По шумному приговору думных бояр его дядю Ивана Умного-Колычева заточают в тюрьму, его троюродных братьев Андрея и Гаврилу бьют публично кнутом и казнят смертной казнью. Сам Федор Колычев, осторожный и ловкий, скрывается из смертельно для него опасной Москвы, облачившись в мужицкий зипун, и на некоторое время нанимается в пастухи к зажиточному крестьянину на Онежском озере в Кижь, там в безопасности переживает самое разнузданное время ожесточенных боярских бесчинств, потом уходит на Соловки и принимает постриг, превратившись в иночестве в Филиппа. Инок поневоле, Филипп, на время брошенный в горнило жизни без поддержки родни, честно проходит весь путь до настоятеля богатейшего монастыря. Правда, человек он двуличный, но именно двуличность, как водится, обеспечивает ему возвышение. По своим внутренним убеждениям он более склонен к благородному учению нестяжателей, чем к безнравственному учению осифлян, и потому его попечением в монастыре поддерживается демократический устав общежития с непременным отказом от владения каким бы то ни было личным имуществом, именно он предлагает инокам все монастырские накопления направлять на устройство и укрепление их общей обители, в его монастыре отбывает наказание старец Артемий, наставник и глава нестяжателей, и каким-то неведомым чудом здоровым и невредимым уходит в Литву. Однако, в отличие от истинных нестяжателей, предпочитающих скромные обители, поставленные в непроходимых лесах, неустанные молитвы и непрестанный пост на корке хлеба и пригоршне воды, игумен Филипп, как истинный Колычев, боярин, владелец громадных вотчин, где тысячи бесправных холопов гнут на него спины до кровавого пота, обладает незаурядным даром стяжания, удивительной хозяйственной хваткой и неистощимой энергией созидания. Попристальной приглядевшись к быту волостей Крайнего Севера, он скоро улавливает, что богатства поистине чудотворные добываются в этом суровом краю солеварением. Его монастырь уже имеет несколько варниц, да беда в том, что по жалованной грамоте ему дана привилегия беспошлинно продавать всего-то на всего четыре тысячи пудов этого замечательного продукта, и в год помазания Иоанна на царство игумен Филипп отправляет в Москву челобитье, в котором, по закоренелому обычаю всех архиепископов, епископов, игуменов и архимандритов, слезно плачется, будто «братии прибыло много и прокормитца им

нечем”, так что на бедность пожалуй нам батюшка-царь привилегию беспошлинно пускать в продажу десять тысяч пудов, а мы за тебя Бога станем молить, то есть продает молитвы свои, и далеко не за тридцать серебряников. Иоанн покупает молитвы и дает привилегию на десять тысяч пудов. С этой привилегии Соловецкий монастырь не только кормится славно, он и стремительно богатеет. Три года спустя расторопный Филипп, в крови которого во всю свою ширь заговорила густая закваска боярина, испрашивается, также в обмен за молитвы, грамоту на причисление к монастырю восьми варниц в Выгозерске, пять лет спустя получает ещё тридцать три варницы в Сумской волости, на обеспечение вновь отчего-то поистившихся иноков вместе тянущими к ним деревеньками даровых рабочих горбов, правда, в обмен на этот уж слишком щедрый подарок рачительный Иоанн, потомок знаменитого Калиты, отбирает у монастыря привилегию, освобождающую от пошлин с торговли солью, которая уже серьезно превышает к тому времени испрошенные десять тысяч пудов. К чести игумена Филиппа нужно сказать, что лично он печется не о срамном и скромном житье, но единственно о честолюбивом служении Богу. Его поистине циклопическими трудами скромная островная обитель, поставленная на пустынном камне студеного моря, превращается не то в цветущую усадьбу боярина, не то в чудо православного Севера, не то в единственное чудо вей православной Руси. Его созидательной мыслью и неустанными хлопотами под смутным северным небом возводится каменный храм Успения Пресвятой Богородицы. При храме постоянно приходящие богомольцы строят общую трапезную, над которой возвышается звонница. Под храмом в неподатливой горной породе высекается помещение хлебопекарни. Шесть лет спустя игумен Филипп приступает к возведению Преображенского собора на погребях, одна стена которого обращена к Святому озеру, а другая глядится в сумрачную гладь залива Благополучия, причем собор, до того тщеславен игумен Филипп, непременно должен быть значительно выше Успенского собора в московском, царском Кремле. Кажется, после подобных свершений не грех отдохнуть, однако игумен Филипп не нуждается в отдыхе. Покончив с этой громадой, возносящей его молитвы на небеса, он, не в состоянии отрешиться от видимых дел, обремененный самыми удивительными проектами, превращает армию иноков, этих усердных отцов-богомольцев, которым подобает дни и ночи проводить за молитвой, в армию каменщиков, строителей, рыбаков и торговых людей, привлекает к своим обширным трудам каждого странника, приходящего в монастырь вовсе не для того, чтобы камни тесать и тоннели просверливать в неподатливой породе коренного кряжа, в армию землепашцев, которых сажает на земли, принадлежащие монастырю, обременяет их поборами, которые много превышают осященные обычаем оклады аренды, его приказчики ссужают деньгами под тридцать три процента вместо десяти, установленных Иоанном на Стоглавом соборе, и принуждают трудиться на барщине сверх записанных в арендном договоре дней и часов, пока многочисленные ходоки и челобитья о его беззакониях не подадут ему трезвую мысль поумерить свой стяжательный пыл и понизить дани в монастырских владениях. Таким чрезвычайным напряжением материальных средств и дарового труда все озера Соловецкого острова соединяются каналами со Святым озером. Под монастырем прокладываются водостоки. По водостокам вода Святого озера стекает в море и движет вереницы водяных мельниц. Кроме водяных мельниц заводятся ветряные, сооружаются кузницы и печи для обжига кирпича, ставится скотный двор, обустраиваются покосы, дамбой перегораживается морская губа, в запруде устраивается рыбный садок, среди валунов и болот прокладываются неразрушимые, на века рассчитанные дороги, изобретаются чаны для варки кваса и трубы, по которым квас самотоком попадает в каменный погреб и там разливается в бочки, в скалах выбиваются житницы и погреба, в житницах постоянно хранится более пяти тысяч четвертей ржи, и вся эта благодать заводится единственно для того, чтобы кормить две сотни монахов, которые дали Богу обет воздержания.

Надо признать, что игумена Филиппа призывают в Москву наряду со всеми архиепископами, епископами, игуменами и архимандритами на освященный собор, которому надлежит

поставить нового митрополита на место отошедшего от дела Афанасия. В Великом Новгороде, если верить далеко не во всем достоверной легенде значительно более позднего его “Жития”, которое лишь приблизительно соответствует исторической правде, соловецкого игумена торжественно встречает депутация лучших, то есть самых богатых, людей, которые будто бы молят его, может быть, в связи с переключением важнейших торговых путей на Александрову слободу, Ярославль, Вологду и пристань святого Николая, поскольку выражаются лучшие люди неопределенно и жалуется на “нелюбовь”, а не на “немилость” царя и великого князя: “Уже слуху належашу, яко царь гнев держит на град сей”. Задержка ли в Великом Новгороде по новгородским делам, по дальности ли расстояния, Игумен Филипп опаздывает на земский собор, сказавший свое крепкое слово о войне за ливонские города. В сущности, человек он сторонний, редко покидающий свой монастырь, не имеющий не только порочащих, но и никаких, кроме кровных родственных, связей, далекий от бесчисленных политических передряг, у него на уме каналы, водостоки, пруды, мельницы, пошлины, дани, приход и расход, которыми обогащается или разоряется его монастырь, заброшенный в такую даль, что дорога в один конец от него до Москвы составляет недель пять или шесть, если не с гаком, па русский гак ещё не измерен. Такой пастырь прямо-таки идеально подходит в митрополиты, поскольку чужд одинаково всем, столько же царю и великому князю, из которого десятки лет тянет льготные грамоты, сколько князьям и боярам, да едва ли и известно ему что-нибудь определенное, положительное о том, из-за чего тут кипит весь этот сыр-бор. Иоанну, решившему окончательно разделить духовную и светскую власти, чтобы каждая из них заведовала своей отраслью жизни Московского царства и не встревала в другую, нужен именно митрополит, далекий от преходящих столкновений и дряг беспокойных земных отношений, который наконец с должным усердием станет заниматься устройением русской церкви на здоровых началах, а не пошлыми интригами в пользу подручных князей и бояр. К тому же он помнит свои детские годы и хранит к этому человеку теплые чувства. Сам неустанный строитель, преобразователь, созидатель стрелецкой пехоты и регулярного опричного войска, он не может не восхищаться тем чудом, которое игумен Филипп сотворил на бесплодном, казалось бы, Севере за неполные тридцать лет. К тому же он помнит его как образованного человека, страстного книжника, не только проложившего диковинные водоводы в неприступных недрах каменных глыб, но и собравшего обширную библиотеку, он и сам время от времени в дар его библиотеке посылает уникальные рукописи. И он с легким сердцем предлагает Филиппу занять свободную кафедру. Филипп отвечает отказом, отговаривается недостойнством, немощью сил, которых однако хватает на запруды и рыбы садки:

– Не могу принять на себя дело, которое превышает силы мои. Почто малой ладье поручать тяжесть великую?

Филипп тщеславен, честолюбив, любит власть и в досталь наслаждается властью в монастыре. Он явным образом лицемерит с самим собой прежде всего, лицемерит с царем, который так возмужал и преобразился, что стал чужим. Однако в данном случае он говорит правду, скорее всего бессознательно. Мало того, что он не государственный человек, ни по натуре, ни по желанию, ни по опыту жизни, каким был в далекие годы незабвенный Макарий. Филипп мало пригоден также к тому, чтобы заниматься духовным устройением церкви, если с вниманием вдуматься в его неустанную деятельность в Соловецком монастыре, полную главным образом материальных забот и хлопот. Он скорее боярин, владелец обширной усадьбы, пусть по прихоти судьбы этой усадьбой стал монастырь, он строитель храмов, мельниц, запруд, а не проповедник, не богослов, какими были Макарий или Артемий, ушедший от церковных гонений в Литву. Для истинного, духовного устройства церкви, для её очищения и возвышения, как мечтается Иоанну, замышляющему завершить свои земные труды основанием Святорусского государства, необходимы иные таланты, иной образ мыслей, иная душа. И потому Иоанн, усердно настаивая, едва ли догадывается о его малой пригодности исполнить такое великое, поистине

богоугодное дело. Тщеславие, разумеется, побеждает. Филипп соглашается. Вполне возможно, что не одним греховным тщеславием подвигается игумен Филипп на согласие. Человек он в летах преклонных, ему шестьдесят, не тот возраст, чтобы менять так круто привычки, начинать что-нибудь заново и приниматься за незнакомое, даже чуждое дело, а на Соловках он обжился, там у него тьма тьмущая неоконченных предприятий, к которым он душой прикипел и которые несравненно ближе, дороже ему, чем духовное обустройство всего Московского царства. Однако не успевает он появиться в Москве, как его окружает целая туча близкой и дальней родни, воины, воеводы, наместники, владельцы вотчин, земская кость и кровь, как на грех собранная вместе на только что отошедший земский собор, и троюродный брат земский окольный Михаил Иванович Колычев, и ещё двенадцать братьев и племянников разной воды на одном киселе, и главный среди них, честный и благородный, каким он слывет, один из руководителей земской боярской Думы, Иван Петрович Федоров-Челяднин, конюший, ведавший разменом Старицкого удела, исполнивший немало поручений царя и великого князя, его недоброжелатель, непримиримый, но пока ещё тайный. Все они по разным линиям ведут родство от Андрея Кобылы, а в тогдашней Москве не имеется уз прочнее, чем узы родства, вопреки известному христианскому наставлению, которое велит отречься и от отца, и от матери, прямо-таки мистические узы по своей неразрывности и подавляющему воздействию на воли и на умы. Дело в том, что как раз эта плечом к плечу сплотившаяся родня, предводимая умным, энергичным Иваном Петровичем, сговорив ещё с десяток земских сидельцев из числа старомосковских бояр, оттесненных удельными князьями на второй план, умышляет подать челобитье царю и великому князю, но отчего-то всё мнется, видать, решимости недостает поднять общий голос в защиту порушаемых родовых привилегий, а с гражданским мужеством в те по духовному складу по-прежнему удельные времена и тени понятия не утвердилось, не способен быть гражданином витязь удельных времен, совсем не способен. И вдруг среди них является родственник, за спиной которого так удобно сплотиться в ряды, и этому чрезвычайно полезному, нужному родственнику царь и великий князь предлагает место первоблюстителя, есть отчего всколыхнуться крамоле и пробудиться красноречию троюродных братьев, внучатых племянников и самой дальней и побочной родни. Собственно, Филипп, на долгие годы заброшенный, именно по причине родства, в угрюмую соловецкую глушь, мало что знает о запутанных московских делах, московские дела его не касаются. Ему можно преподнести какие угодно сказания о мрачных последствиях разделения Московского царства на особый двор и на земщину, и троюродные братья, и внучатые племянники, и в особенности Иван Петрович Федоров-Челяднин преподносят отшельнику уже знакомый набор леденящих ужасов, каких будто бы доселе на Русской земле не бывало, то есть царь и великий князь обиды чинит, бьет, режет, давит и под конец убивает, того гляди до бедных Колычев дойдет, погубит, вырежет род, точно сами князья и бояре ещё до царя и великого князя не повырезали злокозненный род, точно сам Филипп от царя и великого князя, а не от них бежал в пастухи, потом в Соловки. Воспоминания прошлого, когда приходилось бежать и скрываться, неминуемо всплывают в его когда-то униженной, глубоко потрясенной душе, кровь впечатлительного игумена, прикипевшего к мирным заботам о хлебопекарнях и выделке кваса, не может не леденеть: кого безвинного на кол, кого, безвинного тоже, жарит-парит на большой сковороде, кого на бочку с порохом и сам поджигает фитиль, а то просто нож в сердце во время пьяного пиршества или душит собственными руками, зверь и подлец. Вкусив одним разом этой наспех сварганенной клеветы на непьющего, именно от крови ушедшего в особый двор Иоанна, придя в благородное негодование, на что и рассчитывает далекая от мирного сосуществования родня, игумен Филипп соглашается принять на себя первосвятительский сан, но не благочестия ради и укрепления православия на Русской земле, но единственно ради того, чтобы зверя и подлеца укротить и дать защиту невинным страдальцам, которые, о чем страдальцы благоразумно умалчивают, то заблаговременно извещают врага о скрытном передвижении московских полков, то норовят

во время войны перебежать на службу к врагу, чтобы оружие повернуть против московского изверга, а заодно, чего нельзя же не понимать, против собственной бессчетной родни и всего Московского царства, да ведь это, помилуйте, совсем, совсем другой разговор. Если вдуматься, ни самому Филиппу, ни Соловецкому монастырю, ни всей православной церкви в целом и в частности разделение на земщину и особый двор не причиняет никакого вреда, как не причиняет оно никакого вреда громадной массе землепашцев, звероловов, рыбаков и торговых людей. Инокам и попам не грозят переселения и обмены земель, опалы и казни никого из них не касаются, поскольку уж кто-кто, а они не способны даже помыслить о том, чтобы перебежать к католикам и протестантам, где их ждет незавидный прием, для иноков и попов Иоанн был, есть и будет самый верный защитник и закованный в броню оплот православия. Напротив, иноки и попы бесконечно выигрывают от столь необычных преобразований царя и великого князя. Соловецкий монастырь час от часу богатеет благодаря его многолетним щедротам, а нынче благодаря наступающему процветанию русского Севера и переключению чуть ли не всей московской торговли в устье Двины. В монастыри так и сыплются новые вклады, поскольку удельные князья и бояре пуще сковородки или кола, существующих только в воображении, страшатся обмена удельных владений, ведь любой обмен, даже самый почтенный и выгодный, так просто, так естественно и законно лишает их если не всех целиком, то по меньшей мере половины удельных дружин, без которых они как без рук и действительно полные холопы царя и великого князя, то есть придется без своей-то дружины служить именно там и тем чином, как царь и великий князь повелит, ужас какой! Что ж, удельные князья и бояре тоже русские люди, в этом смысле прямая родня своим землепашцам, звероловам и рыбакам, которые шажком да тишком обводят их вокруг пальца так, что вроде и пахнут и сеют, а приходит пора арендную плату вносить, в закромах и нет ничего, самая малость, до весны бы, боярин, дожить. Они тоже лукавы, тоже обильны на всякие штуки, лишь бы безболезненно вывернуться из неприятного или опасного положения. И выворачиваются за милую душу, не особенно истощая своих умственных сил. Каким образом? А самым простым: вотчины передают в монастырь как вклад по душе, с каждым годом всё чаще, и если до разделения Московского царства на земщину и особый двор к монастырским владениям прикладывалось приблизительно с десятков вотчин в год, то после размежевания Иоанна с подручными князьями и боярами ежегодно монастырям достается приблизительно в три раза больше владений, и монастыри принимают их, прямо нарушая запрет, наложенный на вклад вотчин Стоглавым собором. Нечего говорить, что игумены и архимандриты тоже очень и очень русские люди, вотчины они принимают на таких своеобразных условиях, что царю и великому князю невозможно придраться. Неистощимая на каверзы Русь и тут изобретает виртуозный прием: вотчины на помин души вкладываются сей день и час, однако во владение монастыря перейдут лишь после кончины владельца, а до неопределенного часа расставания с земными тревогами всё остается именно так, как заповедано Стоглавым собором, князья и бояре продолжают собирать с них дани и пошлины и держат под рукой боевые дружины, а казначей и игумен как зеницу ока берегут в монастырской казне составленную честь честью грамотку о вкладе и неторопливо ждут кончины владельца, сделка выгодна и той и другой стороне, убытки достаются одному царю и великому князю, которые лишается права обменять заложенную вотчину на любую другую, не затеяв ссоры с монастырем, но именно с монастырями Иоанн ссориться не хочет больше всего, ему необходима поддержка монастырей как для морального воздействия на подручных князей и бояр, так и для будущего Святорусского государства. Конечно, иноки добросовестно печалуются о тех, кто с ужасом ждет либо перемены владения, либо назначения на службу черт знает куда и черт знает кем, воеводой пятым или десятым, тогда как досточтимый троюродный дедушка при царе горохе стоял первым воеводой Большого полка, правда, в удельном шуйском или даниловском, битым нещадно ярославцами или костромичами, либо и вовсе настоящей опалы и казни, если заведется коварная мысль о спасительных вольностях соседней Литвы, где вовсе

не служат ни великим князьям, ни королям, коли не захотят, “не хочу”, пся крив, а все-таки до крайности выгодно инокам, если батюшка-царь, взойдя в праведный гнев, наденет на кол которого-нибудь из позажившихся на белом свете несознательных вкладчиков или какое-нибудь иное лихо над ним сотворит: вотчины присоединятся к монастырским владениям, приумножат даровые рабочие руки, ручейками потекут в монастырские житницы даровые четверти ржи, из монастырской житницы на оберегаемую опричниной Волгу и благословенную Вологду, а в монастырской казне прибавится золота и серебра. Выходит, игумены Филиппу не в чем винить царя и великого князя и не для чего становиться на сторону многогрешных князей и бояр, разве по совести, так по совести не велено и вотчин от них принимать, однако вотчин от них принимать совесть отчего-то преград не чинит. Отчего же он соглашается их поддержать? Ведь для инока не существует ни отца, ни матери, ни родни, никого иного рожна, есть лишь Господь, наш общий небесный Отец, Которому сам обязался верой и правдой служить. Это – закон, и этот закон для христианина неоспорим. Однако именно тут оказалось, что незримые узы родства, никакими законами, никакими молитвами невозможно порвать, на Русской земле родство как было, так и остается превыше всего. Игумен Филипп все-таки Колычев, давним обычаем связанный с правящим домом Старицкого удела, к тому же напрашивается догадка, насидевшийся в холодных пустынях дикого Севера в течение тридцати лет соловецкий игумен слишком доверчив, для него в миру всё скверна и грех, стало быть, любая скверна, любой грех Иоанна, о которых ему во все трубы в уши трубят, для него очевидны заранее, не требуют никаких доказательств, ибо грешен каждый из нас, тяжело грешен, тому порука Господь.

По всем этим связавшимся воедино причинам в середине июля 1566 года, приблизительно между семнадцатым и двадцатым числом, перед Иоанном предстает депутация, человек двадцать примерно, во главе с Иваном Петровичем Федоровым-Челядниным и его дальней родней смиренным монахом Филиппом, в митрополиты ещё не поставленным, но самим выбором царя и великого князя уже имеющим власть. Как извещает своими глазами происшествя не видевший летописец, “бысть в людех ненависть на царя от всех людей и биша ему челом и даша ему челобитную за руками о опришнине, что не достоин сему быти”. Собственно, чему “быти не достоин”? Опалам и казням, беспричинной резне и оголтелому сажанию первого встречного на кол? Да ведь опалам и казням давно положен конец и посаженных на кол, какими ни гляди заинтересованными глазами, нигде не видать. Напротив, с самого начала этого года Иоанн только и знает, что милует, снимает опалы, возвращает Михаила Воротынского из монастырского заточения, суздальских князей, отправленных на нежеланную службу в Казань, почти всех обменивает на новых служилых людей, которые на этот раз беспрекословно, повинувшись росписи, составленной Разрядным приказом, отправляются на оборону по-прежнему шатких восточных украин. О чем в таком случае хлопочет депутация в челобитной, скрепленной приложением двадцати рук? По всей видимости, депутация просит царя и великого князя только о том, чтобы сложил гнев на милость, съединил земщину и особый двор в прежнее состояние, поскольку при новых порядках своеволию князей и бояр, их самостийному житью-бытью под охраной удельных дружин приходит верный и печальный конец, ибо служилые люди слишком охотно от них переходят на службу в лучше обустроенное, лучше обеспеченное земельными наделами опричное войско. В этой неотвратимой потере удельных дружин весь корень их истинных бед, без удельной дружины каждый из них неминуемо превратится в ничто, никакие родовые предания об успехах троюродных дедушек где-нибудь в Шуге не заменят им ни характера, ни ума, ни таланта, без удельной дружины им ни больших воеводств, ни высоких чинов не видать. А казни-то что ж, опалы и казни многим из них даже полезны, ведь освобождается ещё одно место воеводы, окольного или боярина, нельзя забывать, что князья и бояре беспрестанно, жестоко враждуют между собой и за лучшее место, за положение в Думе сами готовы направо и налево смертью казнить, как не без успеха казнили в кровавое смутное время, да и нынче охотно приговаривают к смерти всех тех, на кого им

указывает царь и великий князь, лишь бы не нашего рода. Тем не менее в неугомонной Литве распространяется новый клеветнический слух, будто челобитье за своими руками подают не два десятка московских бояр, принадлежащих, в своем большинстве, к спесивому потомству Андрея Кобылы, а многие из князей, бояр и служилых людей, числом не меньше трехсот, и протестуют они против массового и беспричинного истребления чуть ли не всего населения Московского царства, которое имеет несчастье проживать в этой страшной, нигде не бывалой, неизвестно для какой пакости придуманной земщине. Самозванный свидетель, переводчик из немцев, в таких выражениях передает содержание челобитной, которой ни под каким видом не имел возможности прочесть, шишка не велика:

«Все мы верно тебе служим, проливаем кровь нашу за тебя. Ты же за заслуги воздаешь нам такую благодарность. Ты приставил к шеям нашим своих телохранителей, которые из среды нашей вырывают братьев и кровных наших, чинят обиды, бьют, режут, давят, под конец и убивают...»

Они ему “верно служат”, а он на кол их?! Как не злодей! Седлайте коней от злодея русских братьев спасать, марш-марш! Только кто же поверит, что Литва станет русских братьев спасать? Литва жаждет получить Великий Новгород, Псков и Смоленск. Ради оправдания этой явно не гуманистической жажды любая фальшивка сойдет, а это фальшивка. Если прислушаться к его причитаниям, нельзя не понять, что самозванный очевидец из мелких служащих при особном дворе под видом челобитной, поданной боярами Колычевыми, пересказывает отрывок из послания беглого князя, по понятным причинам популярного в неуголимо жаждущей Литве и в католических странах Европы, и правды в его умышленном пересказе ровно столько, сколько её в самом послании обозленного беглого князя, радетеля и подлеца. Самозваному очевидцу и в голову не приходит прибавить, что эти же самые князья, бояре и служилые люди, к каждой шее которых будто бы приставлен царский телохранитель с обнаженным ножом, стало быть, тысяч до десяти, только что единодушно поддержали царя и великого князя на земском соборе, когда так удобно было протестовать простым несогласием, что и проделывали прежде не раз, когда во время переговоров с литовцами отказывались писать в грамотах его царский титул, тем унижая и оскорбляя его, причем унижая и оскорбляя без всяких последствий для них, а если они страха ради иудейска промолчали во время собора, то откуда же нынче проклюнулась в трусливых сердцах эта прыть? В том-то и дело, что подручных князей и бояр, приходится повторить, до глубины души беспокоят не опалы и казни, громыхавшие предупредительными раскатами в первые дни после возвращения Иоанна из Александровой слободы, а размен прародительских вотчин на этом, тоже прародительском, праве, которое на время размена получают все служилые люди служить кому захотят. Они уже нагляделись, что чуть ли не все их служилые люди жаждут служить в особном дворе, так что не нынче, так завтра они останутся без служилых людей, которые для них и честь и защита и опора их своеволия и военная сила на случай разбоя и грабежа, которые они до сего дня творят на торговых путях, ведь в каждом из них сидит удельный князек Андрей Курбский, который с таким удалством бесчинствует на проезжих дорогах Литвы. И они соборно, приложив руки, оберегают себя от размена владений простейшим, благовиднейшим и надежнейшим способом: давай, мол, батюшка-царь, всё поворотим на прежнее и заживем как при дедах и прадедах жили, именно в той беспечной, воинственной, склочной праотеческой жизни весь их житейский и нравственный и политический идеал.

Для Иоанна мирное челобитье Колычевых мало что значит. Он зорек и многознающ, в этом его главное преимущество перед их намерением воротиться назад. Ещё сильнее, защищенной его делает то, что им владеет одна-единственная идея, неуголимая воля во что бы то ни стало сломить их удельное своеволие, привести их под власть единого государства, подчинить безоговорочной службе царю и великому князю, а вместе с ним безоговорочной службе всему Московскому царству, на которое со всех сторон наваливаются враги, а не службе одним соб-

ственным выгодам, собственным уделам и вотчинам, за меной которых им ничего не видать, кроме внезапно свалившегося на их безвинные головы оголтелого царского гнева. Он последовательно, шаг за шагом, начиная с создания стрелецкой пехоты и укрепления артиллерии, ограничивает их значение в осадах и битвах, он подтачивает их удельные силы, ставит предел расширению вотчин за счет казенных земель, отбирает льготные грамоты, которыми обеспечивались их обширные привилегии, сокращает полки, а нынче создает новое войско, независимое от них, по меньшей мере наполовину близкое к регулярной армии европейского типа, тем самым предотвращая новую смуту, которую однажды довелось ему пережить, душевные раны которой, постоянно тревожат возможностью нового бунта с их стороны. Чем могут ему угрожать эти два десятка, даже две сотни недовольных, перепуганных, трясущихся за свои последние привилегии когда-то независимых, когда-то самовластных удельных владык, а нынче лишь мнящих себя независимыми и самовластными, когда он всего год назад без малейших трудов и хлопот приблизительно столько же трясущихся за свои уплывающие привилегии витязей удельных времен переселил на службу в Казань и ни один из этих стоящих перед ним Колычевых и не подумал их поддержать, защитить, подать челобитье, когда, как теперь выясняется после размена с князем Владимиром Старицким, их собственные служилые люди сию минуту готовы оставить службу на них ради службы на царя и великого князя? Ничем они ему не грозят, они ничем не могут его испугать, даже если бы он был отъявленный трус, каким беглый князь представляет его доверчивым литовским властям и польскому королю, в тайной надежде подвигнуть давних врагов на крестовый поход на будто бы еретика такого гнуснейшего свойства, какого свет не видал, не в силах прозреть своим удельным умом, что это будет крестовый поход против сей Русской земли. Много ли теперь встанет под их знамена служилых людей? Две-три сотни, не больше, капля в море против его нового опричного войска. И все-таки в свете его политических планов это крайне вредное происшествие, а в моральном смысле прямой бунт, не против него одного, это надо помнить всегда, но против Бога, помазавшего его, а Бог для него превыше всех благ. Ведь посольство польского короля и литовского великого князя хоть уже на отъезде, однако ещё не отъехало, ещё продолжаются затяжные, сложные переговоры и перепалки о размене томящихся в плену московских служилых людей, и ведет эти переговоры не кто иной, как сам Иван Петрович Федоров-Челяднин, сам явным образом подбивший на челобитье родню. Какие, стало быть, он там переговоры с ними ведет под рукой? Какие открывает послам вражеской стороны государственные и военные тайны? Какую новую западню готовит царским войскам? А главное, узнай лживый Ходкевич о челобитье, как он эту в сущности простую историю распишет по возвращении к своему королю, когда малейшее сомнение в прочности московского царя и великого князя означает новый совместный поход литовских полков и вечно голодного крымского хана? Он угадывает, что челобитье может оказаться началом заговора или предательства. К тому же по его понятиям челобитье является преступлением, что доказывается очень легко. Всего полтора года назад все Колычевы вместе с другими боярами целовали крест на условии, чтобы он воротился на царство и по своей воле ими владел, так они сами приговорили тогда, никто к их шеям телохранителя не приставлял. Он выразил свою волю ясно и четко, отгородив особным двором часть владений, в большинстве своем беспоместных, безвотчинных, показывая уже этим решением, что не желает вражды. Однако, несмотря на его очевидное желание уладиться миром, они вновь, как бывало бесчисленно и прежде, преступают крестное целование, что и людскими законами почитается преступлением тяжким, едва ли не тяжелее разбоя, а по законам небесным уступает первенство разве что святотатству. Скверней же всего в этой истории то, что челобитье, которым рушится крестное целование, поддерживает соловецкий игумен Филипп, ещё не поставленный в митрополиты, Чего же ему ждать от своего нового богомольца, когда тот все-таки будет поставлен? Какого пастыря назвал он себе же во вред? Он действует быстро и властно, как подобает истинному правителю, когда его подданные открыто и сообща поднимаются на

защиту своекорыстных, неправедных привилегий или исподтишка готовят предательство. На сборы в дорогу послам дается неделя, на эти урочные дни посольство запирается под замок, а расхрабрившихся челобитчиков заключают под стражу, не из одной разумной предосторожности, что о своем челобитье станут некстати болтать, но ещё больше из вполне основательного опасения, что они вступят в преступный сговор с врагом, которому земским собором только что объявлена война до полной победы, то есть до овладения всеми ливонскими городами, и против которого он уже готовит полки. Все-таки новость проскальзывает тайными тропами за рубеж, и вскоре в Литве говорят, что им арестовано вовсе не два десятка недобросовестных родственников Филиппа и Федорова, а куда более трехсот человек. Ну, в Литве чего только не говорят, у них, не глупо замечено на Руси, язык без костей. Если же взглянуть на происшествие трезво, невозможно представить себе, каким образом одним днем арестовать более трехсот человек вооруженных людей, возле которых вертится по меньшей мере две, а то и все три тысячи преданных слуг, между прочим, оружных и конных, ещё труднее представить, какое количество стражи, тоже не безоружной, требуется для такого количества арестованных, тогда как Московское царство пока что не обзавелось ни полицией, ни жандармерией, и в каком заточении этакую орду содержать, когда в Московском царстве пока что не настроено тюрем и всем опальным приходится отбывать наказание либо на службе в глухом захолустье на Волге и за Окой, либо в монастыре?

Кажется, для Иоанна самое время топтать ногами и кричать на Филиппа так, как, будто бы, он кричал на архиепископа Германа, то есть что тот ещё не поставлен в митрополиты, а уже его, царя и великого князя, стесняет неволей, Однако не топают, не кричат. Он и вообще не больно криклив, всё больше молчит, поражая подручных князей и бояр неожиданными для них, хорошо продуманными решениями, от которых впору им кричать истошно и в истерике топтать ногами. Он в принципе не способен оскорбить богослужебного сана. Он беседует с Филиппом наедине, стремясь убедить при помощи библейских текстов и логики, что не достойно духовного лица мешаться в земные дела государя, что духовному лицу надлежит положить душу на духовное устройство царства, как изложено им в послании беглому князю не так и давно. Филипп возражает ему, по всему видать, чужими словами, поскольку, следует повторить, человек он пришлый, в Москве всего не дольше недели, о смысле раздела между государем и подданными вести до Соловков едва ли дошли, возражает приблизительно так:

– Воле твоей повинуюсь, однако умири совесть мою: да не будет опричнины! Да будет только единая Россия, ибо всякое разделенное государство, по глаголу Всевышнего, запустеет. Не могу благословлять тебя искренно, видя отечества скорбь.

О какой скорби отечества он говорит? О скорби ремесленного и торгового люда, который до того терпит от своеволия князей и бояр, что дает царю и великому князю полное право казнить этих “волков”, как захочет? Да и знает ли он хоть что-нибудь об истинной скорби этих людей? Иоанн знает, в отличие от него, и разъясняет ему, тоже скорбя:

– Разве не знаешь, что подданные мои хотят меня поглотить, что ближние готовят мне гибель?

Им не удается договориться, поскольку у них уж слишком разные скорби. Первый человек в богатейшем монастыре на протяжении почти тридцати лет, Филипп и представить не способен себе, чтобы кто-то противоречил ему. Громадную энергию строителя разного рода мельниц и рыбных садков он направляет на достижение новой, не им поставленной цели: во что бы то ни стало принудить царя и великого князя восстановить единство непонятно ради чего разъединенной державы. С зажигательной речью обращается он к духовенству на освященном соборе, должно быть, в полной уверенности, что уж кто-кто, а православное духовенство поддержит его. Нетрудно представить искреннее изумление вчерашнего неограниченного властителя, когда он слышит в ответ, что никто из архиепископов и епископов, игуменов и архимандритов не разделяет его заемного энтузиазма. Подавляющее большинство освященного собора

принимает идею царя и великого князя о необходимости разграничить духовную и светскую власть. Филиппу советует принять чин митрополита без всяких условий и озаботиться духовным устройением церкви, не гневить царя и великого князя прерыванием его государевой воле, но умиротворять душу его, склонять её к милосердию кротостью и проповедью христианской любви. Ему изъясняют доходчиво, что его непримиримость в мирной беседе с царем и великим князем всего лишь гордыня, того не достойная, кто служит Христу, что единственный долг Христова слуги состоит в том, чтобы молиться и наставлять государя в деле спасения его грешной души, а не в делах управления. Неизвестно, пугает ли Филиппа явно проигрышная возможность остаться с Иоанном один на один, без поддержки других иерархов, поскольку за мельницами и садками он не удосужился подготовиться к диспутам по богословским вопросам, в которых Иоанн не знает себе равных не только в Москве, честолюбие ли его, заметное уже в возведении храма Преображения непременно много повыше Успенского собора в Москве, тайно жаждет первосвятительского престола, надеется ли он со временем подчинить своей воле архиепископов и епископов, игуменов и архимандритов, как подчинил братию на Соловках, только он отвечает на увещания:

– Да будет то, что угодно государю и пастырям!

Иоанну этого мало. Его повелением составляется грамота. Грамотой Филипп обязуется в опричнину и в царский домовый обиход не вступаться и после поставления с кафедры не сходить из-за того, что царь и великий князь не отменит опричнины.

Филипп, решительный, крепкий хозяин на своем монастырском подворье, теряется в хитросплетениях государственных дел, с которыми он не знаком, отступает ещё дальше, чем обещал духовенству на освященном соборе, скрепляет грамоту подписью и печатью красного воска, все-таки выговорив себе старинное право советоваться с царем и великим князем, то есть печаловаться за попавших в опалу преступников, на что Иоанн благоразумно отвечает согласием.

Двадцать четвертого июля Филиппа вводят в палаты митрополита. На другой день в Успенском соборе, который все-таки оказался повыше Преображенского храма на Соловках, служится литургия. После литургии Иоанн вручает Филиппу пастырский посох, некогда принадлежавший великому митрополиту Петру, с умилением выслушивает поучительное слово Филиппа о высоких обязанностях служения царского, приглашает бояр и высшее духовенство в свои палаты, угощает радушно, празднует приобретение помощника в своем многотрудном государевом деле, подражая, как говорят, величественным манерам митрополита Макария.

Вскоре новый митрополит уже поставляет епископов в епархии полоцкую, ростовскую, казанскую и суздальскую, встречается с Иоанном наедине, в посланиях монастырям повелевает молиться за царя и великого князя, который против Ливонии и Литвы бьется за святые православные церкви. Иоанн, стремясь избежать участия церкви в новых челобитях или иных выступлениях подручных князей и бояр против опричнины, продолжает подкармливать монастыри подарками, вкладами и льготными грамотами, которыми монастыри освобождаются от натуральной ямской повинности, а монастырские обозы, груженные разнообразным товаром, освобождаются от таможенных пошлин. Привилегии жалуются большей частью монастырям, стоящим в опричнине, но их владениям, расположенным в земщине. Льготные грамоты даются Шаровкиной пустыни, московскому Богоявленскому монастырю, переславскому Федоровскому монастырю, освобождение от податей за оброк получают Чудов, Троицкий Сергиев, Кириллов Белозерский монастыри. Однако ни одной привилегии не удостоивается от царя и великого князя ни митрополит Филипп, ни Иосифов Волоколамский монастырь, оплот любостяжания, а льготные грамоты, только что данные митрополиту Афанасию, митрополиту Филиппу не подтверждаются. Зато князь Владимир Старицкий тут же с явным вызовом щедро раздает в пределах своих новых владений привилегии и самому митрополиту Филиппу, и Иосифову Волоколамскому монастырю, и монастырям царевым, в их числе Чудову, Симонову, Троицкому Сергиеву, Кириллову Белозерскому, переславскому Горицкому, и выходит, что от

тайно-враждебных столкновений между удельными и Иоанном монастыри только выигрывают, получая освобождение от даней и пошлин и от той и от другой стороны. Что касается Колычевых, то их выпускают из заточения тотчас после того, как последняя телега посольского обоза скрывается за литовской украиной. Иван Петрович Федоров-Челяднин, несмотря на свое вудущее положение в земской боярской Думе, отправляется на воеводство в Полоцк, самое слабое место во всей обороне, куда неизменно направляют свои набеги литовцы, опала явная в понимании витязей удельных времен, однако опала почетная, дающая возможность, позабыв родословную спесь, отличиться на службе отечеству и загладить вину. Жена Федорова, чуть ли не в день назначения, оскорбительного для чести. Передает громадную родовую вотчину, расположенную в Бежецком верхе, Новоспасскому монастырю, оговорив, как водится, право пожизненного владения, то есть выручает ценную вотчину из обмена, лишнее подтверждение, о чем именно хлопотали крамольные челобитчики. Об остальных арестантах слагают душевраздирающие легенды. Утверждают, к примеру, что несколько человек было четвертовано, прочим вырвали языки. Новый доноситель, веронец, военный инженер на службе у польского короля, три года спустя севший в Витебске воеводой и усердно собирающий вдалеке от Москвы слухи и сплетни, ходящие по Литве, впоследствии оповещает Европу, будто опричные каты человек пятьдесят арестованных водили по московским улицам и прилюдно били их батогами по икрам. По другим сведениям такого же качества, половина задержанных была казнена и только один почему-то пострижен в монахи. Самозванный очевидец из немцев считает нужным наложить краски погуще: “немного спустя он вспомнил о тех, кто был отпущен, и, негодуя на увещание, велит схватить их и разрубить”, от первого до последнего слова видать, что наделенный садистской фантазией переводчик из немцев не представляет себе, каково живое человеческое тело обыкновенной саблей рубить на куски. От садиста не отстает и беглый князь, который, скоро десять лет сидящий в Литве вооруженным пиявками для несчастных евреев, не желающих платить ему за проезд, всё доподлинно видит, как оно есть: “И другого княже Пронское Василии, глаголаемого Рыбина, погубил. В той же день и иных не мало благородных мужей нарочитых воин, аки двести, избиенно, и неции глаголют и вящей...” Как видим, все свидетельства иноземцев и перебежчиков исправно извергают невероятные ужасы, однако же все они по именам упоминают только двоих, подпавших под смертную казнь: Василия Пронского-Рыбина и Ивана Карамышева. Об остальных же “неции глаголют” кто десятками, кто сотнями убиенных, и расписывают до того отлично друг от друга способы казни, что всем этим “нециям” по трезвому размышлению верить нельзя, поскольку все они уж слишком расходятся в своих показаниях, добытых далеко от Москвы.

Иоанн, как всегда, прежде всего устрашает. Двумя смертными казнями он недвусмысленно напоминает подручным князьям и боярам, целовавших крест столько раз, что с клятвopеступниками не намерен шутить. Но он не может не понимать, что своевольных витязей удельных времен не остановить ни казнями, ни милостями, ни увещаниями, ни крестоцеловальными грамотами, что за одним благополучно для него разрешившимся заговором непременно последует и второй и третий, и так без конца, пока они не вернут себе свои привилегии, которых он им не отдаст, или не сложат головы все до единого.

Глава третья

Умысел Федорова

Собственно, если строго придерживаться легенды о его кровожадности, он и должен был истребить их всех до единого, ведь после того как он учредил пехоту из московских стрельцов, нанял служить татар и казаков, укрепил артиллерию, наконец создал новое, настоящее, опричное войско, он почти не нуждается в них, пожалуй, своей неуклюжестью и пестротой их ополчение даже мешает ему, однако не происходит никакого побоища. Он всегда и во всем остается государственным человеком. Он не забывает о том, что для победы в войне, которая ведется, не его волей, на всех рубежах, он должен иметь много воинов, пусть и не самых лучших и самых надежных. Он вовсе не кровожаден и потому готовится не к поголовному истреблению десятков или даже сотен своих воевод, а к независимости и к обороне от них. Вне стен Кремля, на Воздвиженке, против Ризположенских ворот, для него с той быстротой, с какой строили тогда на Руси, возводят укрепленный дворец, настоящую крепость, на сажень от земли сложенную из тесаного камня и ещё на две сажени вверх из кирпича. Ворота, выходящие в сторону Кремля, оковывают железом и украшают распахнутой пастью льва, глядящей в сторону земщины. На шпили нового замка сажают черных двуглавых орлов. На стенах ставят стражу из опричных стрельцов. К двору примыкает несколько улиц, занятых опричным отборным полком, верные из верных, на которых безоговорочно может он положиться. Всё предупреждает подручных князей и бояр: сила на его стороне, стало быть, лучше уладиться миром. Понятно, такую мощную крепость не взять приступом ни крымским татарам, ни литовской коннице, ни ополчению земщины, да и не умеют витязи удельных времен брать крепостей, конница не пригодна для приступа, а пехоты из чванства иметь не хотят, как не хотят иметь пехоты ни поляки, ни литовцы, ни степняки.

Подручные князья и бояре хорошо понимают предупреждение. Взирая на внезапно взмывшее перед ними крепостное сооружение, они в бессильной злобе желают, как утверждает молва, чтобы крепость как можно скорее сгорела во время пожара, в отчет на что Иоанн со своей стороны будто бы обещает устроить такой пожар в земщине, который несомненно смогут они потушить. Другими словами, между ним и земскими воеводами само собой возникает вооруженное перемирие: они ничего, и он ничего. Тем временем Иоанн преследует свою главную цель. Он неторопливо, обдуманно руководит подготовкой к войне, но не к войне со своими непокорными подданными, которых на первое время смирил устрашением, то есть высокими стенами, двуглавыми орлами да пастью льва, а к настоящей войне, с литовскими воеводами за ливонские города, в полном согласии с тем, что приговорил земский собор. Он никогда не отступает от данного слова и на этот раз неукоснительно держит его. С лживым Ходкевичем было условлено, что он пошлет своего человека к польскому королю и литовскому великому князю для продолжения переговоров, он и посылает Умного-Колычева, несмотря на то, что именно Колычевы затеяли челобитье и уже им перебиты, однако повелевает ни под каким видом не соглашаться на перемирие без всей Ливонии, а если тот вдруг Ливонию даст, так не соглашаться без царского титула и без выдачи изменника Курбского, то есть в любом случае выбирает войну, поскольку с организацией нового, настоящего войска перевес сил на его стороне. Для посла он лично диктует наказ:

«Если литовские паны станут говорить, чтоб царь дал им на государство царевича Ивана, то отвечать: с нами о том наказу никакого нет, и нам о таком великом деле без наказа как говорить? Если это дело надобно государю вашему или вам, панам, то отправляйте к государю нашему послов: волен Бог да государь наш, как захочет делать, Если кто станет спрашивать: для чего государь ваш велел поставить себе двор за городом, отвечать: для своего государского

прохладу; а если кто станет говорить, что государь ставит двор для раздела или для того, что положил опалу на бояр, то отвечать: государю нашему для этого дворов ставить нечего: волен государь в своих делах – добрых жалует, а лихих казнит; а делиться государю с кем? Кто станет говорить, что государь немилостив, казнит людей, и станут говорить про князя Василия Рыбина и про Ивана Карамышева, то отвечать: государь милостив, а лихих везде казнят; и про этих государь сыскал, что они мыслили над ним и над его землею лихо. Если паны Рада спросят: вы говорили нашему государю на посольстве, чтоб он отдал вашему государю князя Андрея Курбского и других детей боярских, которые к нашему государю приезжали, но прежде ни при которых государях не бывало, чтоб таких людей назад отдавать, отвечать: государь наш приказал об этих изменниках для того, что они между государями ссоры делают и на большее кровопролитие христианское поднимают. А если спросят: какие от князя Андрея государю вашему измены, отвечать: над государем, царицею Анастасиею и их детьми умышлял всякое лихое дело; начал называться отличием ярославским, хотел на Ярославле государить...»

Двое казнены, и это происшествие настолько редкое, настолько из ряду вон выходящее, что им могут заинтересоваться в Литве, а заинтересовались бы в Литве, если бы шли повальные казни и двадцати пока что живых Колычевых и ещё трехсот неизвестно каких родовитых князей и бояр? Ни в коем случае! Оттого он не чувствует себя ни с какой стороны виноватым, поскольку лихих и в Европах казнят, и ставит условия жесткие, как тот, кто полное право имеет на такие условия. Собственно, если Умной-Колычев слово в слово исполнит эти условия, перемирие ни под каким видом не заключить. За такими переговорами должен последовать новый поход, к которому и готовится Иоанн, однако поход неожиданно приходится отложить: по осени мор свирепствует в Великом Новгороде, в Старой Руссе и в Пскове и подходит к Можайску своей смердящей волной. Возле Можайска приходится отгораживаться от мора крепкой заставой, чтобы ни один человек не вышел с той стороны, и все-таки мор задевает своим черным крылом и Москву.

Пока достраивается и приводится в порядок его крепость-дворец на Воздвиженке, пока с запада надвигается мор, он укрывается в любимой Александровой слободе. Здесь в начале февраля 1567 года он принимает шведских послов, присланных Эриком, который всё больше запутывается в затяжной войне с Польшей и Данией и со своими, тоже удельными, тоже вооруженными, тоже строптивыми, тоже необузданными баронами, которых усиливается смирить топором палача, и уже подходит к середине третьей сотни казненных, всё ещё не додумавшись, каким способом разоружить удельные, независимые полки. Он предлагает прочный, более тесный союз против Польши, а взамен просит помирить его с Данией и ганзейскими городами, чтобы облегчить себе непосильное бремя войны, и вновь, лишь бы заманить Иоанна в свои из одних призрачных мечтаний сплетенные сети, предлагает ему Катерину, сестру польского короля и литовского великого князя, жену своего младшего брата, приговоренного к смерти за вооруженное выступление против законного государя и четыре года ожидающего казни в тюрьме, причем Эрик сам уже не совсем понимает, жив его брат или мертв, и просит уверить московского государя, что Катерина стала вдовой. Предложение Эрика приходит как нельзя более кстати. Переведенная под любым предлогом в Москву, Катерина может стать прекрасным товаром для торга: сестра в обмен на мир и Ливонию. При тогдашней чрезвычайно высокой ценности родственных отношений, за которыми стоят короны и страны, такой обмен хоть кому покажется выгодным, ведь Катерина имеет наследственные права на Литву и предпочтение в случае выборов нового польского короля. И все-таки для склонного к разного рода политическим комбинациям Иоанна возможность подобной выгодной сделки служит лишь началом грандиозного лана. Он мыслит крупно, масштабно, он склонен обдумывать далеко идущие замыслы, отчего в столкновении интеллектов его князья и бояре постоянно проигрывают ему, не в состоянии хоть что-нибудь противопоставить его изобретательным ухищрениям, то с одной, то с другой стороны внезапно урезающим их привилегии.

В самом деле, все, кто видел в последние месяцы польского короля и литовского великого князя, в один голос твердят, что король плохо владеет правой рукой, как и левой ногой, возможно, от европейской подагры, а быть может, обыкновенный русский кондратий грядет. Сам неумолимый сторонник строго наследственной власти, Иоанн в своих политических расчетах не может не учесть, что в Польше новый король будет избираться точно такими же своевольными панами, как шведские бароны или московские князья и бояре. Серьезная болезнь этого слишком ненасытного любителя мирских наслаждений означает только одно: польский престол очень скоро может освободиться и будет пущен в продажу всем и каждому, кто сможет хорошо заплатить избирателям, однако останется свободной корона литовского великого князя, в Литве, слава Богу, ещё не додумались выбирать себе государя, как выбирают сапоги и кафтан. Что же в таком случае будет с Литвой?

Предвидя столь возмутительный для его правосознания и все-таки чрезвычайно важный для его политики торг, Иоанн уже предпринимает кое-какие шаги, чтобы приобрести наследственное право на Литовское великое княжество, на этом наследственном праве, но только на нем, сесть на польский престол, одним махом разрешить все надоевшие, слишком хлопотные дразги с Ливонией, и на основе строго династических, наследственных приобретений воздвигнуть величайшее государство в Европе, которое протянется от Волги до Вислы, может быть, и до Одера, от Балтийского моря до Черного, поскольку при подобном развороте событий дни крымского ханства окажутся сочтены. Загвоздка именно в том, чтобы обзавестись именно наследственным правом, чтобы ни в коем случае не оказаться выборным королем. Он засылает в Литву своим тайным лазутчиком Яна Глебовича, литовского воеводу, плененного в стремительном и победоносном полоцком взятии. Яну Глебовичу поручается посулами и подарками заманить на московскую службу Воловича, одного из Радзивилов и любого из влиятельных воевод, из тех, кто не желает полного слияния с Польшей в единое государство и неизбежного в таком случае верховенства по-хамски кичливого панства, но главное, главное Яну Глебовичу вменяется в обязанность убедить панов Раду не искать себе великого князя, кроме московского царя или его сыновей. Идея великого славянского государства, способного соперничать с непобедимой Оттоманской империей, до того увлекает его, что в ирные минуты он готов участвовать даже в выборах, однако, поскольку избрание государя его подданными противно самым коренным убеждениям и прямо-таки ненавистно ему, этого безобразия для его душевного спокойствия, для прочности его власти лучше было бы избежать, но как? И тут в самый острый момент тревожных, далеко идущих предположений, в момент колебаний между соблазном и убеждением вновь появляется где-то в шведских туманах одиноко кукующая Катерина, законная наследница польского короля и литовского великого князя, уже ступившего в могилу одной парализованной ногой. Женись он на ней, он тоже станет законным наследником. Тогда он по праву может по меньшей мере занять литовский великокняжеский стол и без кровопролития, которое противно ему, овладеть старинными русскими землями, в свое время, нет, не завоеванными, просто-напросто украденными Литвой, а там можно будет подумать и о польском, правда, уж очень шатком, столе. Такую возможность и в пятнадцатом, и в шестнадцатом, и в семнадцатом веке, и даже позднее не упустит ни один государь. Иоанн тоже не имеет причин упускать. Правда, он женат на Марии Черкасской и для него священо таинство брака, какие бы гадости ни распускались из-под руки о его будто бы звероподобном распутстве. Однако с этой стороны в его пользу два обстоятельства, его времени абсолютно понятные. Во-первых, он женат на своей подданной, не имеющей царственной крови, а такой брак признается неполноценным, недаром все монархи Европы взапуски ищут себе венценосных невест. Второе обстоятельство ещё более важно в монархическом государстве: после кончины младенца Василия черкешенка никак не может родить ему сына, наследника, тогда как его сыновья, рожденные любимой Анастасией, худосочны, болезненны и, по всему виду, не заживутся на свете. В таком случае черкешенка может постричься, постричься с одобрения церкви, как произошло

с Соломонидой, и он станет свободен для нового брака, и его отец в свое время был вынужден так поступить, так что и сам Иоанн рожден от второй жены, которую его подручные князья и бояре, прежде убив, до сей поры предпочитают именовать незаконной, лишь бы оспорить его права на московский престол. Разумеется, в ветреном феврале 1567 года Иоанн не собирается ни разводиться, ни снова жениться. Как опытный дипломат он лишь начинает игру и станет ждать ответного хода противника. А пока переговоры идут очень складно и быстро. Если перепалки и ухищрения с польской стороной тянутся по несколько месяцев, чтобы благополучно завершиться ничем, то с шведскими представителями уже шестнадцатого февраля подписывается союзный договор. Договор любопытный, составленный искусным политиком. Иоанн отдает Швеции всё, что она уже захватила в Ливонии, но оговаривает, что эти города передаются на время и что Рига должна принадлежать только ему. В дальнейшем Швеция и Московское царство вольны приобретать в Ливонии всё, что удастся приобрести, причем Иоанн хладнокровно рассчитывает на то, что слабосильная Швеция больше не приобретет ничего. В обмен на свободу действий в Ливонии изворотливый Иоанн берет на себя смелое обязательство примирить короля Эрика, запутавшегося в своей внутренней и внешней политике, с заседающей Данией и ганзейскими городами, претензии которых на безоговорочное преобладание в балтийских портах Иоанну тоже не нравятся, или на худой конец предоставить ему военную помощь, тогда как Эрик, и это для Иоанна важнее всего, в знак благодарности обязуется со своей стороны пропускать на Русь европейских мастеров и оружие, что упорно отказывается делать польский король. Ключевым же условием становится Катерина, без её передачи в полное распоряжение московского царя и великого князя ни один пункт договора в действие не может вступить, а в случае её смерти теряет силу и сам договор, что, кстати сказать, на случай казни её мужа гарантирует ей жизнь, и нельзя исключить, что вся эта преувеличенная возня с Катериной, не то вдовой, не то мужней женой, предпринимается именно для того, чтобы успокоить Эрика, приручить его, втянуть в военный союз, но сделать неисполнимым сам договор, поскольку трезвый, обстоятельно мыслящий Иоанн едва ли рассчитывает на то, что ему выдадут когда-нибудь Катерину, слишком это дорогой и многих интересующий товар. С тем он и отпускает покладистых шведских послов, с тем и отправляет в Швецию своим послом Воронцова, присовокупив, чтобы после утверждения договора Воронцов испросил у короля Эрика руку его шестнадцатилетней сестры для московского царевича Ивана, а в качестве приданого потребовал воротить Кольвань, злодейски переименованную немцами в Ревель.

Подобным договором как будто исполняются все заветные мечтания Эрика. Иоанн предоставляет шведскому королю приятную возможность наслаждаться одержанной дипломатической победой, видимо, очень надеясь, что не способный ни на чем сосредоточиться Эрик не углядит, как московский царь и великий князь его вокруг пальца обвел. Катерина-то Катериной, Катерина нечто вроде журавля в небе, за этим призраком он укрывает синицу. На владении Ригой, этим важнейшим центром восточно-балтийской торговли, он настаивает не даром. Рига не только составляет неприятную конкуренцию пока что шведскому Ревелю-Кольвани. Важнейшая торговая магистраль проходит по Западной Двине, из-за чего Ревель-Кольвань утрачивает приблизительно половину своей привлекательности для московской торговли, а без московской торговли этот порт обречен на оскудение, на полуголодное прозябание, так что Швеция перестанет им дорожить, а собственные военные силы Ревеля-Кольвани слишком ничтожны, чтобы самостоятельно отстаивать независимость в водовороте событий. Заодно овладение Ригой развеет химерические притязание Польши на ливонские города. Больше того, если ему в самом деле удастся примирить Швецию и ганзейские города, восстановится насильственно затрудняемый торговый обмен между Москвой и хиреющими, но всё ещё богатыми немецкими городами, что даст щедрые пошлины, немецких мастеров и оружие, которые запер на ключ всё тот же польский король.

Так в голове Иоанна зарождается грандиозный план оборонительного и наступательного союза северных государств, направленный, само собой разумеется, против хищной, несговорчивой Польши. В этот крайне полезный, крайне приятный его уму и сердцу союз уже входят Московское царство и Швеция. Исключительно дипломатическими средствами он присоединит к этому союзу ганзейские города, привлечет Данию, которая тоже не приходит в восторг от слишком наглых польских претензий на преобладание в балтийской политике и торговле, и заманит в него каким-нибудь способом Англию, которая именно в эти переломные для своей истории десятилетия нуждается в союзниках как никогда. Между прочим, в расчетах на Англию им руководит не фантазия, а трезвая оценка её положения. Ему ведомо, до какой крайности шатко положение королевы Елизаветы на английском престоле. Мало того, что специальным эдиктом покойного короля Генриха, её деспотического отца, она объявлена незаконнорожденной и несколько лет ждала в заточении казни. Ему известно от английских торговых людей, что с севера, из Шотландии, английской королеве угрожает куда более законная претендентка Мария Стюарт и что по этой причине очень ненадежны английские лорды северных графств. Он знает о непримиримой вражде испанского короля Филиппа, который перекрывает английской торговле морские пути, кроме одного, к пристани святого Николая на белом море. Он заключает по рвению английских торговых людей, как нуждается Англия в налаженной, прочной торговле с Москвой. Его извещают лазутчики, что и германский император, и польский король настойчиво требуют от Елизаветы наложить запрет на эту торговлю, чтобы полностью изолировать русский народ от Европы и тем обречь его на ничтожество и нищету, однако английская королева всякий раз отвечает туманно, общими фразами и продолжает направлять в Белое море десятки своих кораблей, да и сами английские торговые люди так и рвутся в русскую Нарву и доставляют свои товары до самого Нижнего Новгорода. Как ей не согласиться заключить с ней военный союз, а если она согласится, кто во всей Европе сможет устоять против них? По его убеждению, не сможет никто!

И ранней весной, едва вскрываются реки, Иоанн отплывает на север. Псом смердящим, с повинной головой он приходит в Кириллов Белозерский монастырь, чтобы исступленной молитвой очистить оскверненную душу от безобразий и смрада грехов. Он жертвует тамошним инокам значительную сумму в двести рублей и вновь умоляет игумена изготовить для него в стенах любимой обители отдельную келейку, где он станет проводить дни и ночи в посте и молитве, если когда-нибудь Бог сподобит его постричься в монахи. Затворничество, иночество – его заветная мечта, искренняя, сердечная, давняя, но тоже вроде сестры польского короля: либо пострижется, либо не пострижется, либо получит, либо не получит Катерину в качестве неизвестно кого, уж как ведает Бог, а пока он царь и великий князь и предстоят ему греховные, мерзкие, земные дела.

И на этот раз главная цель его Вологда. Он проверяет, каково возводится крепость, которой надлежит стать надежным оплотом всего московского Севера. Он примеривается, не превратить ли её, столь удаленную от всегда опасных, ненадежных, зыбких украин, в стольный град всех опричных владений, уже самим расстоянием защищенный от постоянно грозящей Москве возможности внезапного нападения: конным полкам от Оки и Смоленска всего два дня пути. Мало того, он предполагает построить в Вологде собственный флот, военный, европейского образца, с любимыми пушками на борту, для начала из четырех кораблей, которым предназначено обезопасить торговлю от наглости польских и голландских пиратов. По его повелению по всему побережью Белого моря разыскивают и отбирают самородных умельцев, навывших ладить для поморов лады, а из Англии ждут мастеров. Он обнаруживает по спискам, что опричное войско благодаря притоку служилых людей, уходящих от удельных князей и бояр, увеличилось в полтора раза и впредь обещает только расти. Для испомещения новых дворян данным ему правом он забирает в особый двор Кострому, безвотчинную, беспоместную, что не наносит ущерба земским князьям и боярам, и таким образом овладевает всем

средним течением Волги, за исключением Нижнего Новгорода, и соединяет прежде разрозненные Суздаль и Галич в одно громадное сплошное пространство особного двора, и эти истинно государственные заботы о торговле, о войске, о флоте едва ли свидетельствуют о том, будто он собирается постричься с сегодня на завтра или сбежать черт знает куда вместе с семьей, как трубят о его замыслах недобрые люди. Напротив, по многочисленным хозяйским заботам видать, что он обустроивается надолго, всерьез, что он чувствует себя прочно в им же преобразенной Русской земле.

Видимо, англичане задерживаются в этом году или пока что отсутствует тот, с кем достойно вести переговоры о союзе с Елизаветой, кого английская королева примет и выслушает, на этот счет Иоанн щепетилен и уважителен не только в отношении себя самого, но и в отношении других государей. Никогда он не сделает скоропалительный, необдуманый шаг, тем более с важным поручением не отправит простого гонца, что означает на дипломатическом языке оскорбление. Он предпочитает отложить переговоры на более позднее, но удобное время, при надлежащих событиям обстоятельствах, чем впопыхах доверить такое серьезное поручение первому встречному из англичан. Распорядившись тотчас прислать подходящего человека, как только англичане появятся в Вологде, он возвращается в немилую Москву обживать свою крепость-дворец на Воздвиженке, а следом за ним из Кириллова белозерского монастыря просачиваются темные слухи, которые, может быть, распускает он сам, чтобы отвлечь подручных князей и бояр от заговора и измен ожиданием того счастливого дня, когда он добровольно оставит престол, и действительно подручные князья и бояре принимаются оживленно обсуждать приятную новость о том, будто он готовится постричься и удалиться от дел, прикидывают, кем бы его заменить, дружно отвергают его сына Ивана, ненавистное Калитино семя, и вновь сходятся на князе Владимире Старицком, человеке всесторонне бесцветном и потому удобном для них, как польским панам угоден только бесцветный, бессильный король, вряд ли задумываясь над тем, что их пересуды и шепоты очень скоро станут известны московскому царю и великому князю через тех князей и бояр, которые остаются верны ему. Впрочем, он и без донесений верных и преданных знает, что они ему не верны и без сожаления расстанутся с ним. Он за ними следит, чтобы они его не застали врасплох, и пока что удовлетворяется наблюдением. Точно так же он напряженно следит и за тем, что происходит в Польше, в Литве и в Крыму, откуда каждый день может нагрянуть беда. И в самом деле, из-за Перекопи вновь доставляются тревожные вести. Хан приглашает на беседу Нагого и говорит:

– Я бы с твоим государем и помирился, да теперь на твоего государя поднимается человек тяжелый, турецкий царь, и меня на Астрахань посылает, да и все мусульманские государства поднимаются на твоего государя за то, что твой государь побрал мусульманские юрты.

Преданный Иоанну, опытный дипломат, Афанасий Нагой отвечает бестрепетно, поскольку дипломату не полагается трепетать ни перед кем:

– Астрахань государю моему Бог дал, и стоял за неё Бог же и государь мой. Ведаешь сам, что государь мой сидит на своем коне и недругам своим за недружбу мстит.

Хан с этой истиной не согласиться не может, у него опыт большой, сколько раз его дикий набег разбивался в прах о московские крепости и полки:

– Оно так, твоему государю эти юрты Бог поручил, но ведь на Бога надеемся и мы.

Афанасий Нагой возражает учительно:

– Государи между собой ссылаются поминками, а царствами государи между собой не ссужаются: этому статья нельзя.

Осторожный, предусмотрительный Афанасий Нагой подкупает кое-кого из советников хана, проведывает о том о сем у пришлых торговых людей, этих вечных разносчиков новостей, и доносит в Москву:

«Прислал турецкий весной к хану с грамотою: были у турецкого из Хивы послы да из Бухары, которые шли к Мекке на Астрахань, и били челом турецкому, что государь московский

побрал юрты басурманские, взял Казань да Астрахань, разорил басурманство, а учинил христианство, воюет и другие многие басурманские юрты, а в Астрахань из многих земель кораблям с торгом приход великий, доходит ему в Астрахани тамги на дань по тысяче золотых. И турецкий писал к хану, чтоб шел с сыновьями этою весною к Астрахани, а он, султан, от себя отпускает туда же Крым-Гирея, царевича, да Касима, князя, и людей с нарядом, чтобы Астрахань взяли и посадили там царем Крым-Гирея, царевича...»

По счастью, бог действительно бережет Русскую землю. Девлет-Гирей страшится турецкого султана гораздо больше, чем московского царя и великого князя, изворачивается татарин, хитрит, отговаривает Селима, сменившего покойного Сулеймана Великого, что неблагоприятно выступать на Астрахань летом, оттого что мест много безводных, а и зимой, видит Аллах, тоже нельзя, оттого что туркам непривычна здешняя стужа, а в Крыму голод большой, нет возможности с турками поделиться припасами, а если идти туркам на Астрахань, так ранней весной, над городом промышлять, а если Астрахань вдруг не возьмут, поставить город на старом городище с крымской стороны, чтобы Астрахань из него промышлять, то есть мыслит учинить нечто вроде Свяжска, учиненного Иоанном накануне великого казанского взятия. На всякий случай врет беззастенчиво:

«У меня верная весть, что московский государь послал в Астрахань шестьдесят тысяч войска; если Астрахань не возьмем, то бесчестие будет тебе, а не мне; а захочешь с московским воевать, то вели своим людям идти вместе со мною на московские украины: если которых городов и не возьмем, то по крайней мере землю повоюем и досаду учиним...»

Рассчитывая изловить золотую рыбку в мутной воде, он и в Москву отсылает гонца, оповещает о планах Селима и с удивительной наглостью и простотой предлагает доброй волей отдать Астрахань ему, Девлет-Гирею, крымскому хану, всё одно, мол, добро пропадет, так пусть лучше попользуется добрый сосед, на что Иоанн отвечает вопросом:

«Когда то ведется, чтобы, взявши города, их назад отдавать?..»

Понимая, что крымского жулика не урезонишь никакими запросами, он наместником отправляет в Казань кстати освобожденного из монастырского сидения Воротынского, когда-то бравшего с ним вместе эту сильную крепость и потому нынче, как он полагает, самого надежного защитника этой отдаленной твердыни на случай похода Селима, наводящего звериный страх на Европу.

С другой стороны поступает донесение от конюшего Федорова из Полоцка и при донесении литовские грамоты и лазутчик Козлов, бывший служилый человек Воротынского, бежавший на подлую службу в Литву. Лазутчик направлен лживым Ходкевичем с грамотами от имени польского короля и литовского великого князя самому Федорову и с ним Воротынскому, Бельскому и Мстиславскому, самым крупным предводителям удельных дружин, самым первым по положению и влиянию в Думе, естественно, с предложением перебраться на службу в Литву и с обещанием благ земных доотвалу. Грамоты утрачены, видимо, навсегда, если не хранятся в таинственно пропавшей библиотеке грозного царя Иоанна. Их содержание приблизительно можно восстановить по пересказу в ответных грамотах, составленных отчасти самими князьями, отчасти продиктованных им вновь поймавшим их государем. Осознав, что ему не одолеть Москвы даже в союзе с хвастливым, но трусоватым Девлет-Гиреем и что Европа, по крайней мере в этот тревожный момент собственных треволнений и войн, не поддержит его, старый интриган верно рассчитывает, что нынче исход затянувшейся Ливонской войны целиком зависит от верности или, напротив, неверности Иоанну его подручных князей и бояр, из чего делает ещё более правильный вывод, что ему надлежит любыми средствами завлечь их в Литву, после чего повернуть и самих перебежчиков, и их служилых людей против их прежнего, слишком решительного, слишком успешного, несговорчивого и тяжелого на руку повелителя. Иезуитский замысел представляется ему вполне исполнимым. Его вдохновляет не только красноречивый пример князя Курбского и некоторых других беглецов. Наполовину принад-

лежа к европейски знаменитой фамилии Сфорца, он мыслит по-европейски и принимает как норму переход на службу от одного государя к другому, из одного королевства в соседнее королевство, исторически веками враждебное первому, переход не из убеждений прежде всего, а из личной выгоды, из желания заработать на переходе большие деньги, поскольку в просвещенной Европе издавна шпага такой же расхожий товар, как перец или пенька. Не может не соблазнять изошрившегося в интригах поляка и новая обстановка, новые отношения между московским государем и его воеводами, о которых до него доходят разрозненные, несвязные, однако вполне благоприятные слухи, недаром в своих обстоятельных наказах послам Иоанн с таким упорством отрицает самую возможность разделения Московского царства на земщину и особый двор, не желая давать неприятелю лишний повод возмущать против него земских смутьянов. Доходя до него и упорные, более определенные вести о довольно обширных опалах и казнях, и в своих тайных грамотах, адресованных высшим руководителям земства, он рассчитывает просто-напросто на низменный страх, который не может не толкать не измену вечно недовольных, вечно колеблющихся витязей удельных времен. Однако все эти злонамеренные рассказы о колах с пением благодарственных гимнов Христу и о сковородках, на которых московский царь и великий князь будто бы поджаривает неугодных или всего лишь надерзивших ему или вовсе безвинных князей и бояр, хороши до залитой кровью Европы, измыслившей в силу своей особенной просвещенности столько утонченных пыток и казней, наставившей столько плах, запалившей столько костров, что готова поверить в любую несуразность и дикость, в любое варварство, в любую. Жестокость, как только заводится речь о далекой, неизвестной и непонятной Русской земле. Было бы бессмысленно со стороны польского короля и литовского великого князя пичкать этой дичью московских князей и бояр, которые доподлинно знают, кого казнят и за что казнят и видят казни своими глазами. Соображаясь с московской реальностью, он изъясняется совсем на другом языке, без сковород и колов, о которых захлеб повествуют перебежчики и шпионы. В послании от имени Бельского таким образом передаются его выражения:

«Што присылал еси к нам з листом своим слугу своего верного Ивашка Козлова, а в листе своем к нам писал еси, штож тебе поведал слуга твой верный Иван Петрович Козлов, какова есть нужда над нами всеми народом христианским, как великими людьми, так середними и меньшими, деетца за панованье брата твоего государя нашего. И ты то, брат наш, слышавши, жалуеть того, заньже нашему государству и христьянству то негодно чинити над людом Божиим пастьство вверено, коли ж сам Бог-сотворитель, человека сотворивши, неволи некоторые не учинил и всякою почестию тебя посетил...»

Точно теми же словами передает это место из прелестной грамоты и Мстиславский, пока что ни в чем не замешанный, и Воротынский, только что отбивший свою сытную опалу в монастыре:

«Прислал еси до нас бывшего нашего хлопца коморного, а своего верного слугу Ивашка Перова сына Козлова, з листом своим, а в нем к нам писал еси, штож тебе тот наш хлопец поведал, какова нужда над нами князи и надо всем народом христьянским, так и людьми великими, ако и над меньшими станы деетца за панованье брата вашего, государя нашего...»

Таким образом, польская сторона, осведомленная о положении дел из первых рук, от беглого Ивашки Козлова, решается говорить лишь о “нуже”, о принуждении со стороны своего брата московского царя и великого князя, которое одинаково нестерпимо как для московских князей и бояр, так и для польских вельмож, согласных служить своему королю только в том случае, если им выгодно или вдруг захотелось служить, и не согласных служить своему королю, если не выгодно или вдруг не захотелось служить, что медленно, но верно подтачивает могущество и самую независимость Польши, правда, конечный итог этого внутреннего разложения государства и государственности ещё впереди. Единственно в послании к конюшему Федорову польский король и литовский великий князь решается обратиться иначе, заговари-

вает о возможном кровопролитии и свершившимся принуждении служить не где хочется по чести и положению рода, а где царь и великий князь повелел, да и эти, более резкие выражения осторожный потомок герцогов Сфорца поручает Ходкевичу, которому конюший Федоров отвечает, видимо, лично, без участия Иоанна, поскольку всё ещё находится в Полоцке, вдали от него:

«А штож писал еси в листу своем, штож государь мой хотел надо мною кровопроливство вчинити, и тое, брат наш, берешь перед себя небылыя слова Але зрадные, а не есть того коли бывало, а ни быть может, што царьскому величеству без вины кого карать. Также и того не бывало, што Литве Москва судити; полно, пане, вам и ваше мечьцо справовати, Але не Московское царство. А штож в твоём листу писано, што потреба жалованью, Как бы годно самому подданному; и якая-ж то прямая служба, еже не мает воли государя своего над собою, но свою волю мает? И то есть не прямая служба, но зрадная, тоя ж от тебе зазле имею, як же в таковых седилах неразумьем писал ты. А что в твоём листу писано, штож государь мой волокитами меня трудит; ино государь мой; а где есть годно его царьскому величеству наша послуга, тут его царское величество на потребы свои посылает, также и наше прироженство царьскому величеству с радостью заслуговати, а не в трудность то себе ставить...»

Постаравшись побольней уязвить самолюбие этими рассуждениями о пренеприятных “нужах” и “волокидах”, которыми московский злодей трудит своих замордованных подданных, без расчета мест отправляя их на потребы свои, потомок герцогов Сфорца надеется на этот раз, не без основания, склонить униженных, оскорбленных князей и бояр не только к измене, к переселению в Литву со всеми своими вооруженными слугами, но и к вооруженному мятежу. По его высокоумным предположениям, мятеж должен возглавить Михаил Воротынский, действительно хлебнувший опалы, в отличие от Бельского, дважды прощенного Иоанном, Мстиславского, до сей поры сидевшего безвинно и тихо, и конюшего Федорова, отправленного в Полоцк на службу. По этой причине именно в послании Воротынскому он с достаточной обстоятельностью излагает свой план мятежа и план военной помощи мятежникам со своей стороны, чтобы общими усилиями свалить неугодного Иоанна, а Московское царство по-братски поделить между собой на уделы и вотчины, то есть кто сколько успеет схватить. Михаил Воротынский пересказывает этот план в ответном послании:

«Вы обещаете нам, если мы станем вашими подданными, предоставить нам всё то, что мы теперь имеем, и всё, что удастся с Божьей помощью и благодаря нашей службе отвоевать из числа наших утраченных наследственных владений; Вы хотите дать нам в наследственное владение ещё несколько замков, соседних с нашим уделом, и не замедлите прислать нам военных людей на помощь; нас же самих вы хотите держать на тех же правах, как одного из ваших подручных удельных князей – как князя Прусского или князя Ледницкого, или князя Мишенского, или как в Литве князя Слуцкого и князя Курляндского, во всем нас держать наравне с ними и при этом повышать, а не понижать нас в достоинстве, как подобает нашему великому роду и как всегда велось и ныне ведется в у христианских государей, – вы считаете себя обязанными не уменьшать, а умножать благодеяния христианам и ни у кого из них ничего не отнимать, в особенности если они происходят из княжеского рода, возвышенного самим Богом. Ради меня вы обещаете оказать государскую милость и тем, которых я признаю годными для вашей службы, и предлагаете им ехать к вам на службу...»

Надо признать, что подлость задумана очень неглупо. Достаточно отъезда четырех самых крупных удельных князей со своими вооруженными слугами, число назвать трудно, приблизительно тысячи две или три, притом в тот момент, когда земским собором приговорена война до победного конца, чтобы Иоанн потерпел поражение в этой войне, поскольку у него и без того недостаточно войск для успешной защиты всех рубежей. Вполне довольно хотя бы намек на такого рода предательство, чтобы любому правителю прийти в ярость и без суда и следствия казнить виновных хотя бы в одном умышлении на измену во время войны, а тут ещё предпо-

лагается открытый мятеж и объединение в ходе мятежа этих двух или трех тысяч вооруженных слуг с полками противника. Да в этих критических обстоятельствах кровь должна пролиться рекой, или поверить лишь половине тех чудовищных преступлений, в каких обвиняют Иоанна неугомонный князь Курбский и орава продажных писак. Однако княжеской крови не проливается ни одной капли. Вопреки усердно творимой легенде, будто Иоанн обезумевший тиран и палач, вспылчив чрезмерно, вечно пьян, не владеет собой и в безрассудстве гнева склонен к зверскому живодерству, вроде того, что во время обеда, так сказать на десерт, режет своих сотрапезников, Иоанн проводит расследование, вероятно, лично опрашивает каждого из тех, кому адресованы обличающие их, крамольные грамоты, Бельский и прежде активно ссылаясь с Литвой, дважды пытался отъехать и был дважды прощен, Воротынский отбыл опалу приблизительно за те же проделки, Федоров только что пытался объединить недовольных “нужами” и “волокистами”, обменами вотчин и назначением на службу без мест и потребовал “ни у кого ничего не отнимать”, как выражается достаточно осведомленный польский король и литовский великий князь, по перехваченным грамотам нетрудно установить, что все четверо безусловно повинны в новых тайных сношениях с вражеской стороной во время войны, и если ещё можно предположить, что Ивашка Козлов направлялся к Воротынскому наудачу, единственно в расчете на его оскорбленное самолюбие, то ни под каким видом поверить нельзя, будто лазутчик вражеской стороны случайно и наудачу пробрался именно в Полоцк, случайно и наудачу обратился именно к конюшему Федорову, случайно и наудачу попросил одного из самых влиятельных людей Московского царства помочь ему тайно проникнуть к Бельскому, Мстиславскому и Воротынскому. Больше того, при Ивашке Козлове обнаруживают ещё один документ, который показывает со всей очевидностью, что задолго, заблаговременно обговаривались многие подробности предстоящего мятежа. Это красноречивое послание потомка герцогов Сфорца к английским купцам, торгующим в пределах Московского царства, главным образом через Великий Новгород и русскую Нарву. Видите ли, он просит английских торговых людей, из солидарности европейской против Русской земли, оказать мятежу посильную помощь:

«Я, Сигизмунд, король польский и пр., прошу вас, английских купцов, слуг моих доверенных, помогать подателю сего письма и оказывать пособие и помощь тем русским, которые ко мне дружественны, как деньгами, так и всякими другими способами...»

Может быть, Иоанна особенно тревожит именно это послание. Уж кого-кого, а английских купцов никак нельзя представить себе доверенными слугами польского короля. Как раз наоборот, польский король в течение многих лет делает всё, что в его силах, чтобы выжить всех иноземных торговых людей из Московского царства, где они ведут чрезвычайно выгодный торг, дающий барыш от сорока процентов и более, а польские пираты дерзко грабят все иноземные корабли, идущие в русскую Нарву, ничуть не хуже английских пиратов, которые грабят испанские корабли, идущие в испанские и голландские порты с грузом американского золота и серебра. Сообразив все эти хорошо известные обстоятельства, Иоанн не может не взволноваться. Если польский король все-таки именуется английских торговых людей своими доверенными слугами, именно английских, а не голландских или ганзейских, стало быть, с ними велись долгие и успешные переговоры, в итоге которых английские торговые люди действительно дали свое согласие оказывать любую, в том числе и денежную помощь московским мятежникам. А что получили в обмен? Многие могли получить, в том числе важнее для любого купца. Английская королева покровительствует только Московской компании, которая ведет торговлю от пристани святого Николая на Вологду, Этой же компании покровительствует и сам Иоанн, ей он предоставляет торговые льготы, через её представителей ведет переговоры с Елизаветой о военном союзе. Через Нарву идут почуявшие барыш, стихийные, неорганизованные купцы, всюду встречающие сильную конкуренцию со стороны мощной Московской компании. Этим купцам Иоанн никаких льгот не дает, и если польский король пообещает им льготы в случае победы мятежников и весь московский рынок в придачу, они рискнут большими деньгами,

лишь бы вышвырнуть вон конкурентов, не только из Москвы, но и из Белого моря и Вологды. Опасность не может не представляться Иоанну реальной. Возможно, кроме того, что поздний потомок итальянских разбойников политической мысли рассчитывает куда тоньше, чем это представляется простоватым его адресатам, испокон веку приобывшим думать только мечом и потому способным только к бесхитростным, прямолинейным поступкам. Сомнения нет, польский король и литовский великий князь очень надеется на открытый мятеж этих достаточно ограниченных московских князей и бояр, надеется особенно потому, что лишен иных возможностей одолеть Иоанна, и он действительно набирает полки и сам направляется во главе их поближе к московским украинам, чтобы в нужный момент прийти на помощь мятежникам. С другой стороны, он не может исключить и того, что Ивашку Козлова изловят верные опричные слуги и вся эта куча крамольных бумаг окажется в руках Иоанна. Нетрудно предугадать, каковы будут последствия такого провала. В разгар напряженной, в сущности, безысходной войны потомок герцогов Сфорца одним махом устранил четверых самых видных, самых влиятельных воевод и думных бояр, а заодно насмерть поссорит московского государя и английских торговых людей, которых ему не удастся выжить из Московского царства ни с помощью угроз и пиратов, ни с помощью убедительных посланий чуть ли не ко всем государям Европы, в которых он не устает повторять, как опасно возвышение Московского царства для всех вместе и в отдельности для любого из них. В жилах Иоанна течет обыкновенная русская кровь, которая по части лукавства стоит крови итальянского кондотьера. Виновных в злоумышлении на его личность и власть он не подвергает ни опалам, ни казням. Каждый из них остается на прежних местах, что само по себе не может не быть превосходной мезью замечтавшемуся польскому королю и литовскому великому князю. Вполне вероятно, что он разъяряет виновным в злоумышлении и на его личность и власть, как невыгодно им злоумышлять вообще, тем более невыгодно злоумышлять в пользу вражеской стороны. В самом деле, все они на первых местах в земской Думе и в земских полках, даже конюший Федоров не может называть свою службу в Полоцке унижительной, поскольку Полоцк не мал и чин конюшего остается за ним. А что они получают в Литве? Их сравнивают с каким-нибудь ничтожным герцогом прусским или с помраченным духом магистром, получившим Курляндию в обмен на свое верховенство в Ливонии. К тому же, вероятно, напоминает им Иоанн, как только он отвоюет Ливонию и Литву, в чем он не сомневается и в чем его подручные, только что подавшие голос на земском соборе. Не сомневаются тоже, он первым делом повесит предателя Курбского, посмевшего воевать русские земли во главе литовских полков, на первой подходящей осине, следом за ним непременно повесит и других беглецов, то есть в их числе Федорова, Бельского, Воротынского и Мстиславского, ели они решатся сбежать, так стоит ли наклоняться к измене? Он любит и умеет прибегать к устрашению, и скорее всего они, поразмыслив немного, приходят к согласию. По крайней мере все они сохраняют ведущее положение и в Думе и в войске. Как ни в чем не бывало повелевает он конюшему Федорову выдвинуть из Полоцка к литовским украинам конные отряды служилых и пешие отряды посошных людей и на пути предполагаемого наступления литовских полков поставить крепость Усвят, да ещё крепости Улу, Сокол и Копие, с прозрачным намеком, какие именно бесконечные радости ожидают врага на Русской земле, и конюший Федоров, тоже как ни в чем не бывало, высылает посошных людей валить лес, расчищать место и ставить деревянные стены из трехметровых бревен в обхват и выдвигает вперед свою конницу для охраны строителей на случай внезапного нападения пронюхавших о сюрпризе литовцев. Сам Иоанн, от природы наклонный к язвительной шутке, не может отказать себе в удовольствии вдоволь поиздеваться над облапошенным королем. Неизвестно, полностью ли он сам от имени своих оплошавших князей диктует послания польскому королю и литовскому гетману, ли в задушевной беседе с ними обозначает общие положения. Большого значения такие подробности не имеют. Всё едино в каждом послании его мысль, его обширное знание истории и международной политики, его спокойный насмешливый тон, и что за

тон! Представьте себе, его подручный князь Бельский запросто именуется своим братом польского короля и литовского великого князя, то есть обращается с ним как с равным себе. И это, конечно, не примитивная грубость, не высокомерное хамство оскорбленного мелкого самолюбия. С удовольствием испытанного ума, с изяществом увлеченного книжника Иоанн рукой Бельского обстоятельно излагает его родословие и родословие потомка герцогов Сфорца, из сравнения которых само собой безоговорочно следует, какое ничтожное место занимает польский король и литовский великий князь на большой политической сцене, заодно напоминая этим сравнением своим неразумным удельным князьям и московским боярам, что они были в литовской земле и чем они стали под скипетром московских великих князей:

«Писал ты ещё о наших предках, в какой чести они были, – так ведь великое княжество Литовское было нашей вотчиной, потому что наш прапрадед – князь Владимир, сын великого князя Ольгерда. Когда же князь Ольгерд взял себе вторую жену, тверянку, он, ради этой второй жены, лишил нашего прапрадеда предназначенных ему почестей и наследства и передал престол великого княжества Литовского своему сыну от второй жены – Ягайло. Известно всем христианским народам, в какой чести великий князь Ягайло держал прапрадеда нашего и своих младших братьев – Лугвеня и Свидригайла и иных младших братьев, и какая убогая вотчина была у нашего прапрадеда. Известно также, каким образом дед твой Казимир изменчески убил нашего родственника Михайла Оленьковича и захватил его вотчину и отдал её под власть великого княжества Литовского, и в какой чести был прадед наш, князь Иван, и дед наш, князь Федор, и как его принуждали даже оставить свою веру, и как он в одной рубашке убежал к истинно православному великому государю блаженной памяти Ивану, деду его царского величества, нашего нынешнего государя. И он, как истинный православный государь, нашего деда, князя Федора Ивановича, пожаловал своим великим жалованием и воздал ему заслуженную честь, и с того времени до нынешнего никто в его земле не считается выше нас или даже в равенстве с нами; у царского величества служит много людей царского рода и великокняжеских родов, и все они по его царскому повелению подчиняются нашим приказам. Как же можно говорить, что мы сохранили достойную часть наследственных имений, если дед наш и прадед были лишены своего престола – великого княжества Литовского; какая же тут часть владений, – что можно получить с убогой вотчины? А наши подданные, паны великого княжества Литовского, были в равенстве с нашим дедом и прадедом – какие же тут воля и честь: быть в равенстве со своими подданными?..»

Со своей обычной умной усмешкой он указывает потомку герцогов Сфорца, что его права на Литву, которую тот как раз в эти переломные месяцы тащит в союзе с Польшей в единое государство Речь Посполитую, слишком призрачны, что как правитель он в нравственном отношении слаб перед ним, что польскому королю и литовскому великому князю нечего предложить его подданным, чего бы они уже не имели в Москве, а чтобы в полную волю потешить себя, в довершение своих абсолютно верных исторических изысканий он делает слабоумному соблазнителью от имени Воротынского неожиданное, невероятное, вполне согласное с его логикой предложение:

«А если ты обещаешь нам свою милость, то награди бы ты нас так: прежде всего установи с нами братские отношения и дай нам в вотчину Новгород Литовский, Витебск, Минск, Шклов, Могилев и иные города по Днепру, кроме Киевского повета, и всю Волынскую и Подольскую земли; ты будешь на Польском королевстве, а брат наш князь Иван Дмитриевич Бельский на великом княжестве Литовском и Русской земле, а брат наш Иван Федорович Мстиславский будет владеть Троками и Берестьем и другими городами, и Прусами, и Жмудью, а мы будем владеть теми городами, которых теперь просим у тебя, и установим между собой братские и дружеские отношения, и все, вместе с братом своим, будем под вольной самодержавной властью великого государя, а его царское величество к христианам милостив т ради своих подданных не щадит собственной персоны в борьбе с недругами; он имеет достаточно

сил, чтобы оборонить себя и нас от турок и от крымского хана, и от императора, и от многих других государств и будет нас держать в благополучии. А на другое награждение, меньше этого, нам, брат наш, соглашаться не подобает...»

Иоанн тут как в воду глядит: не только его удельные князья имеют наследственные права на многие литовские земли, о чем польскому королю и литовскому великому князю следовало бы прежде много и много подумать, перед тем как приглашать их на службу к себе, но очень скоро и ему самому предоставится эта соблазнительная возможность управлять и Польшей и Литвой и Русской землей, и он, поразмыслив тревожно, но трезво, своей волей благоразумно откажется от неё.

Глава четвертая

Расправа

К сожалению, насмешливые послания не удастся переправить их адресату, а хотелось бы поглядеть на физиономию отпрыска итальянского кондотьера, когда бы тот познакомился с его ядовитыми предложениями и сообразил, может быть, что, приглашая к себе на службу Бельского, Мстиславского и Воротынского, он приглашает опасных претендентов на корону великого князя литовского, имеющих на неё более основательные права, чем он сам. Иоанна не столько поражает, сколько раздражает очередная прискорбная неудача его заносчивых воевод. Новая оборонительная крепостца Копие возводится на озере посреди острова Суша, верстах в семидесяти от Полоцка, откуда открывается прямая дорога на Вильну. Возводится крепостца заведенным порядком, подсказанным мастером Выродковым под Свяжском, упроченным указанием самого Иоанна и опробованным десятки раз в степях за Окой. Заведенный порядок до того необычен на взгляд европейца, что один из них, Фульвио Руджиери, специально знакомит с ним римского папу:

«Он имеет кое-какие маленькие деревянные крепости на границах Литвы и Руси. Таких, пока я был в Польше, он выстроил четыре с невероятной быстротой, а так как способ их постройки кажется мне весьма примечательным, я кратко расскажу о нем. После того как его инженеры предварительно осмотрели место, подлежащее укреплению, где-нибудь в довольно далеком лесу рубят большое количество бревен, пригодных для таких сооружений. Затем после пригонки и распределения их по размеру и порядку, со знаками, позволяющими разобрать и распределить их в постройке, спускают вниз по реке, а когда они дойдут до места, которое намечено укрепить, их тянут на землю, из рук в руки; разбирают знаки на каждом бревне, соединяют их вместе и в один миг строят укрепления, которые тотчас засыпают землей, и в то же время являются и их гарнизоны, так что король только ещё первое известие получает о начале сооружения, потом они оказываются столь крепки и внимательно охраняемы, что, осажденные громаднейшим королевским войском, испытывая храбрые нападения, мужественно защищаются и остаются во власти Московита...»

Посошных людей, на руках таскающих громадные бревна, прикрывает конный отряд уже много известного своими бесславными отступлениями Петра Серебряного-Оболенского. Этот заносчивый, самонадеянный князь не может избавиться от вредной привычки беспечных удельных времен, лагерь разбивает где ни попало, в лагере стоит без сторож, безрассудно, вольготно, точно в родимой сторонухе выехал в чисто полюшко бездельное тельце в богатырской утехе размять. Лихие воители этого прескверного рода всегда весьма лакомы для любого противника, даже самого лопухого. Едва получив известие о начале строительства, наскоро выступают литовцы, подкрадываются свободно, не опасаясь сторож, на скакивают внезапно, из всего отряда конных служилых людей мало кому удастся спастись. Василий Палецкий, второй воевода, остается на месте, однако князь Петр, все-таки истинный витязь удельных времен, успевает очутиться в седле, однако не считает нужным ввязаться в кровавую сечу, а мчится во всю конскую прыть с поля битвы, отчего-то не страшась будто бы страсть как тяжелой, немилосердной руки Иоанна. В очередной раз выясняется, что всё это лживые сказки про страсть как тяжелую, не ведающую милосердия руку. За трусливое бегство с поля сражения воеводе голову полагается снять без рассуждений, не выясняя причин, а Иоанн ничего. Князь Петр Серебряный-Оболенский как ни в чем не бывало остается в земском войске на воеводстве. Негодование Иоанна просачивается наружу лишь в том, что он удерживает кипу посланий в своем сундуке, а Ивашка Козлов, который должен был передать поносные грамоты королю Сигизмунду, оканчивает, согласно преданию, свою паскудную жизнь на колу.

В прочем жизнь Иоанна движется заведенным порядком. Он собирает в Москве больших воевод с их вооруженными слугами, чтобы изготовились в любую минуту выступить на Оку, если нынешний год татары припожалуют к южным украинам, как будто нарочно доказывая подручным князьям и боярам, что не страшится ни их самих, ни их многочисленный вооруженных служилых людей, гораздых бегать и от литовцев и от татар. Сам он, в ожидании вестей от южных сторож, вырабатывает, как приговорил земский собор, план большого похода в Ливонию, выбирает дороги для земских и опричных полков, определяет места для стоянок, повелевает набрать посошных людей в помощь полкам, главным образом для передвижения пушек и проведения осадных работ. По его разумению, земские полки должны двинуться от Вязьмы, Смоленска, Дорогобужа на Великие Луки, тогда как опричным полкам предстоит выйти к Пскову и Великому Новгороду. Он предполагает молниеносным ударом по двум направлениям захватить Луже и Режицу. Дальнейший ход наступления он нарочно прикрывает туманными рассуждениями о том, что от Лужи и Режицы можно выступить прямо на Ригу, а можно двинуться прямо на Вильну, таким способом вводя в заблуждение собственных воевод, которые страсть как горазды переносить его военные замыслы в стан неприятеля, а заодно с ними вводит в заблуждение и польского короля, который предполагает идти с полками на Молодечно, Радошковичи, Борисов, в упрямой надежде, что Федоров, Бельский, Мстиславский и Воротынский все-таки, с радостью изменив, повернут свои боевые дружины против своего государя, а он как раз подоспеет пожать плоды их подлой победы.

Между тем у пристани святого Николая появляются английские корабли, где их давно ожидает царский гонец. Гонец тотчас передает Дженкинсону высочайшее повеление поспешить приездом в Москву. Дженкинсон подчиняется беспрекословно и в конце августа 1567 года прибывает в стольный град Московского царства. Вопреки обыкновению выдерживать иноземного посла месяц-другой в посольской избе, предоставляя достаточно времени поразмыслить о загадках и превратностях бытия, Иоанн тотчас устраивает официальный прием, который приходится на праздник русского Нового года, то есть первое сентября. Спустя всего несколько дней глубокой ночью Дженкинсона тайно проводят в опричный дворец на Воздвиженке. Иоанн лично встречает английского гостя и проводит в свои покои скрытыми от посторонних глаз переходами. Дженкинсону позволено иметь при себе переводчика. Со своей стороны Иоанн допускает к переговорам лишь Афанасия Вяземского. Поначалу речь заходит о почти посторонних вещах. Иоанн знакомит представителя английской короны с крамольной грамотой польского короля, адресованной английским купцам, торгующим через Великий Новгород и русскую Нарву, то есть фактическим конкурентам Московской компании, которая представлена Дженкинсоном. Иоанн сдержанно признается, что первоначально, ознакомившись с содержанием грамоты, был весьма оскорблен, однако, взвесив все обстоятельства, выслушав показания, данные перед казнью лазутчиком, впоследствии убедился, что это всего лишь змеиные козни польского короля, который любыми средствами жаждет воспрепятствовать английской торговле на Русской земле. Хорошо припугнув таким образом представителя торговой компании, он поручает ему передать королеве Елизавете предложение о военном союзе, “чтобы её величество была другом его друзей и врагом его врагов и также наоборот”, разумеется, в первую очередь врагом польского короля и литовского великого князя, главного противника сближения между Лондоном и Москвой. Далее Иоанн просит Елизавету присылать к нему мастеров, “которые умели бы строить корабли и управлять ими”, а кроме того, вместе с обычным набором товаров для вольного торгового отправления попутно оружие, в особенности им любимые пушки и весь необходимый снаряд, изумительное свидетельство, до сей поры не оцененное до конца, что Иоанн действительно намеревается основать русский военный морской флот, позарез необходимый ему для того, чтобы очистить воды Балтийского и Баренцева морей от польских, голландских и французских пиратов, подрывающих торговлю с Европой, а также и для того, чтобы с моря блокировать Ревель-Колывань, Ригу и всё польское побережье, из чего

следует, что заложенные в Вологде корабли должны, по его замыслу, явиться началом морского владычества Московского царства, как стрелецкие полки явились началом русской регулярной пехоты. Наконец, как и полагается в переговорах этого уровня, оба государя должны взаимно гарантировать друг другу право убежища, “для сбережения себя и своей жизни, и жить там и иметь убежище, без опасности, пока беда не минует, Бог не устроит иначе”, причем для большей убедительности Иоанн знакомит Дженкинсона и с прелестными грамотами, направленными его виднейшим думным боярам и воеводам. Похоже, Иоанн достаточно осведомлен о международном и внутреннем положении Англии, которое в известном смысле много хуже того положения, в котором находится Московское царство. Английская торговля выброшена с европейского рынка. Грубая английская шерсть не в состоянии конкурировать с тонкорунным испанским сукном, производящимся в мастерских Брабанта и Фландрии. Английские торговые люди пробиваются в Средиземное море к странам Леванта, но и здесь они встречают сильную конкуренцию со стороны французской торговли, а в пути им редко удается ускользнуть от испанских и алжирских пиратов. Дания то и дело грозит закрыть Зунд. На пути в русскую нарву англичан грабят польские корабли. В северных водах становится небезопасно и голландских и французских пиратов, а навигация в Белом море чересчур коротка. Англия того гляди задохнется без прочной, регулярной торговли в Русской земле. Таким образом, в интересах Елизаветы помочь Иоанну по меньшей мере в том, чтобы сделать безопасным Балтийское море и утвердиться на его берегах. В его предложении о взаимном праве убежища тоже таится серьезный намек. Иоанн вряд ли, как упорно уличают его, собирается спасаться бегством от собственных князей и бояр, которые в военном отношении более чем слабы против его нового обученного регулярного опричного войска, однако он всё последнее время страшится полного военного поражения, которое может стать неизбежным, если его воеводы примутся сдавать неприятелю крепость за крепостью, на что их с таким усердием подбивает польский король и литовский великий князь, или удирать с поля боя, как только что удрал, в какой уже раз, князь Петр Серебряный-Оболенский, на этот случай ему в самом деле придется где-то отсиживаться, пока беда не минует и Бог не устроит иначе. В ещё большей опасности находится Елизавета. Дочь второй жены, казненной отцом, объявленная незаконнорожденной его королевским указом, брошенная Марией Кривой, её сводной сестрой, в каменное узилище Тауэра, она имеет слишком шаткие права на английский престол, куда меньше, чем Мария Стюарт, подлинная королева Шотландии. Её лорды то и дело плетут заговоры, более дерзкие и опасные, чем заговоры московских князей и бояр, поскольку каждый заговор имеет целью покушение на жизнь королевы. Мало того, чуть ли не вся Европа в состоянии войны или готова воевать против Англии. На севере испанцы и французы поддерживают против неё Марию Стюарт и мятежных баронов английских северных графств. Испания вытесняет Англию из южных морей. Франция не начинает военных действий единственно потому, что она раздираема ожесточенной гражданской войной. Помогая французским протестантам против французских католиков, чтобы ослабить Францию и захватить её рынки. Елизавета неизбежно входит в противоречие с германским императором, который помогает французским католикам. В Нидерландах свирепствует Альба, который надеется реками крови подавить движение гезов. В таких критических обстоятельствах только отдаленное Московское царство может стать союзником Английского королевства, и Елизавете политическое убежище в московском Кремле может понадобиться значительно раньше, чем Иоанну в Вестминстере. Иоанн требует хранить содержание переговоров в непроницаемой тайне, чтобы не вводить в соблазн подручных князей и бояр. Делать записи он запрещает. К тому же он крайне спешит. Он настаивает, чтобы Дженкинсон до зимних холодов вышел из замерзающего Белого моря и уже весной доставил ему ответ своей королевы, другими словами, ему не терпится как можно скорей покончить с ливонской войной, что в союзе с Англией и Швецией свершится, как он уверен, только что не само собой. Дженкинсон и эту просьбу исполняет беспрекословно. Около шестнадцатого сентября он покидает

Москву, причем, чтобы придать переговорам необходимую основательность и упрочить доверие Елизаветы, Иоанн подтверждает Московской компании, на которую работает Дженкинсон, все прежние привилегии на беспошлинный торг в Астрахани, Казани, Нарве и Юрьеве, а также право вести прямую торговлю с Шемахой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.